

Мифы и легенды
Стамбула:

33 мистические истории
старого города

Роман Орлов

Роман Орлов
Мифы и легенды
Стамбула: 33 мистические
истории старого города

<https://litres.ru/74115573>

SelfPub; 2026

Аннотация

Стамбул легко притворяется понятным. Дворцы, мечети, базары, чай у Босфора, крики чаек, сладкий запах витрин. Но задержитесь в сумерах у закрытой двери, у старой колонны или у темной воды, и город заговорит шепотом.

В этом сборнике 33 мистические новеллы о Константинополе и Стамбуле. Византийские святыни, османские дворцы, башни, хаммамы, кладбища, рынки и воды Золотого Рога становятся местами, где любовь, страх, гордость, вина и надежда оставили след глубже камня.

Эта книга для тех, кто любит историческую мистику, городские легенды и Стамбул, в котором прошлое редко лежит спокойно. После этих историй старая дверь, темное окно и вода у пристани будут смотреть на вас внимательнее.

Содержание

Пролог. Город, который помнит за людей	4
Новелла I. Сахарная печать	10
Новелла II. Бархатный фаэтон Перы	34
Новелла III. Письма между башнями	57
Новелла IV. Человек, который не хотел падать	82
Новелла V. Камень девушки	112
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Роман Орлов
Мифы и легенды
Стамбула: 33 мистические
истории старого города

**Пролог. Город, который
помнит за людей**



Стамбул умеет улыбаться.

Он делает это охотно, но слегка лениво.

Подставляет солнцу купола. Выпускает чаек над паромами.

Варит кофе так густо, будто в чашку попал кусок ночи.

Протягивает туристу стакан чая, тарелку пахлавы, вид на Босфор и уверенность, что все важное здесь давно занесено в путеводители.

Он любит казаться понятным.

Вот дворец. Вот мечеть. Вот базар. Вот цистерна, где вода держит на себе перевернутые головы древних богинь. Вот улица с кошками, лавка с рахат-лукумом, старый фонтан, каменный спуск к морю. Иди, смотри, фотографируй, покупай гранатовый сок, считай минареты, спорь о цене ковра.

Стамбул терпелив.

Он давно привык, что его разглядывают быстро.

Но у каждого города есть вторая кожа.

У Стамбула она лежит под камнем, солью, известью, копотью, пылью базаров и морской водой. Ее не видно с корабля. Она редко попадает на открытки. Гиды проходят мимо нее с поднятым зонтиком: у группы осталось двадцать минут до автобуса, а у тайны нет расписания.

Иногда эта кожа проступает.

В трещине стены.

В запахе дыма там, где давно ничего не горело.

В сахаре, который темнеет не от огня.

В двери, открывшейся для того, кто слишком долго ждал.

В камне, который теплее ладони зимой.

Стамбул построен на слоях.

Один город поглощал другой, молился над третьим, торговал на костях четвертого, прокладывал улицы через память пятого. Здесь императоры уходили в пыль быстрее, чем кошки находили новую крышу. Здесь святые делили стены с палачами. Здесь ремесленник мог приготовить сладость для султана и понять, что сахар иногда служит государству вернее солдат. Здесь женщина могла прожить жизнь за решеткой с видом на кусок неба, а ее имя продолжало искать выход после смерти.

В этом городе вещи редко бывают только вещами.

Ключ помнит руку.

Чаша помнит губы.

Камень помнит кровь.

Сукно помнит молитву.

Дверь помнит того, кого не пустили.

Вода помнит всех, кого унесла, и сердится, когда ее называют просто красивой.

Из такой памяти выходят истории, которые не любят дневного света.

Музейная табличка говорит коротко: дата, имя, материал, иногда стоимость реставрации. Она сообщает, кто построил, кто приказал, кто победил, кто был погребен. Табличка ред-

ко признается, кто испугался. Кто солгал. Кто молчал, когда нужно было кричать. Кто шептал молитву перед дверью, лишь бы та открылась.

Легенда рассказывает иначе.

Она не спорит с историей. Она прячется у нее за плечом и ждет, пока стемнеет.

История говорит: здесь стоял дворец.

Легенда смотрит, кто проходит по пустому коридору после закрытия музея.

История говорит: здесь молились.

Легенда знает, что именно удерживала молитва.

Днем Стамбул надевает лица одно за другим: византийское, османское, торговое, туристическое. К вечеру лица устают.

Ночью у города появляется другое.

Без блеска куполов и витрин.

Оно смотрит из щелей между эпохами. В нем есть медь крови, соль моря, мокрая шерсть уличных собак, пепел пожаров, миндальная сладость, кислый запах страха, розовое масло гарема, рыба чешуя у пристани, холод цистерн и пыль дорог, по которым когда-то уводили детей с новыми именами.

Это лицо не злое.

В старых городах зло редко ходит с табличкой на груди.

Стамбул старше слов, которыми его пытались приручить. Он помнит. А память, если дать ей достаточно веков, начи-

нает вести себя как живое существо.

Она просит плату.

Иногда рассказом.

Иногда молчанием.

Иногда тем, чтобы человек остановился у закрытой двери и не стал дергать ручку.

Город тесный. Мест у воды мало. Хорошие стены строят на старых стенах. Новая дверь часто висит на косяке, который помнит чужую руку. В подвалах лежат обломки колонн, под базарами старые ходы, под мечетями чужие камни, под чайными лавками пепел домов, о которых никто не рассказывает детям.

Человек живет здесь недолго.

Дом дольше.

Колодец дольше.

Порог еще дольше.

Легенда дольше всех, если ее не торопить.

Поэтому эти истории лучше читать медленно.

Верить каждой истории необязательно. Достаточно идти медленнее и допустить, что город прячет больше, чем показывает. Что у красивого места бывает темная сторона.

Днем Стамбул шумит.

Торгуется.

Смеется.

Ругается в пробке.

Кормит котов.

Спорит о рыбе.

Продает магниты, шелк, специи, кофе, золото, вид на закат и право сказать дома: я был там.

А ночью город пересчитывает другое.

Цела ли дверь.

На месте ли ключ.

Не выступила ли соль на камне.

Держится ли последний узел.

Когда вы окажетесь в Стамбуле — после этой книги или до нее, — он встретит вас обычным образом. Шумом. Жарой. Чаем. Криком чаек. Запахом жареной рыбы у воды. Продавцом, который назовет вас другом через три секунды после знакомства.

Все будет на своих местах.

Только однажды вы можете остановиться там, где другие проходят.

Постойте.

Посмотрите.

Возможно, ничего не случится.

И это будет удачей.

А возможно, город решит, что вы уже готовы услышать одну из его историй.

Тогда не перебивайте.

Старые города говорят редко.

И почти всегда шепотом.

Новелла I. Сахарная печать

Легенда о мастере Касyme и первой стамбульской ловушке



Касым понял, что сироп испорчен, еще до того, как увидел черную кайму по краю котла.

Сахар вел себя не так.

Обычно он кипел шумно, как положено. Шипел, тянул-

ся за лопаткой тяжелой медовой струей, пах медом, ореховой скорлупой и чуть пригоревшим дном. А этот стоял тихо. Не булькал. Не пел. Даже с огнем не спорил. Только густел на дне и темнел у стенок, словно в медовую гущу всыпали горсть золы.

Юсуф стоял у двери, прижимая к груди мешок с миндалем.

— Уста, — сказал он тихо, — от него пахнет не сладким.

Касым поднял деревянную лопатку. Тягучая нить сиропа стекла обратно, но не оборвалась сразу. Повисла, дрогнула и только потом исчезла в мутном блеске.

— Чем пахнет?

Мальчик поморщился.

— Как после пожара. Когда дождь прошел, а балки еще теплые.

Касым поставил лопатку на край котла.

За стенами лавки стучали молотки. Египетский базар еще достраивали. Позже под его сводами будут тесниться торговцы, зеваки, носильщики и уличные коты. А пока здесь пахло пылью, известью, мокрым камнем и гарью. Недавний огонь снял с домов крыши. Балки почернели, стены остались косыми и голыми. С тех пор по утрам в квартале сначала нюхали воздух, потом открывали двери.

Стамбул умел делать вид, что не помнит бедствий. Люди — хуже. У них оставались глаза.

— Выбросим? — спросил Юсуф.

— Нет.

— Но вы сами говорили: если сироп почернел, его уже не спасти.

— Я говорил это про обычный сироп.

Юсуф посмотрел на котел с испугом.

— А этот какой?

Касым не ответил.

Три дня назад его провели через боковые ворота Топкапы. Не торжественно. Просто велели идти следом и не задавать лишних вопросов.

Толстый евнух в темно-зеленом кафтане шел впереди. Его широкая спина заслоняла половину коридора, а мягкие туфли почти не звучали на каменном полу.

— Смотри вниз, мастер.

— Я и смотрю.

— Ниже.

Касым опустил глаза на узор мрамора.

— Меня зовут к дворцовому повару?

Евнух не обернулся.

— Тебя зовут туда, где вопросы портят человеку будущее.

— А молчание его улучшает?

Евнух остановился. Медленно повернул голову.

— Иногда продлевает.

После этого Касым молчал.

В малом зале было прохладно. Откуда-то тянуло водой, фиалковым шербетом и воском. Между ним и человеком за

резной ширмой стоял низкий столик с чашей гранатовых зерен. Зерна блестели как капли крови, которые кто-то аккуратно разложил для красоты.

Голос из-за ширмы был молодым и усталым.

— Ты Касым?

— Да, мой падишах.

— Твой айвовый шербет подавали в доме венецианского посла. После него этот старый лис трижды присылал слугу за добавкой.

— Он любил кислое.

— Он любил уезжать. А остался еще на месяц.

Касым не понял, что на это отвечать, и выбрал поклон.

— Люди возвращаются за твоими сладостями, — сказал падишах.

— Если сладость хорошая, за ней возвращаются.

— Вот поэтому ты здесь.

За ширмой шевельнулась тень. Касым видел не лицо, только темный изгиб плеча и руку, взявшую из чаши гранатовое зерно.

— В мой город приезжают чужеземцы. Послы, купцы, врачи, монахи, шпионы. Они улыбаются, едят наш хлеб, хвалят наши фонтаны, а потом увозят с собой цены на зерно, имена продажных людей, слухи о янычарах и слабости визирей. Мне это не нравится.

Евнух, стоявший сбоку, добавил мягко:

— Падишах желает сладость, после которой человек будет

помнить Стамбул лучше, чем собственный дом.

Касым поднял глаза на ширму.

— Сладость может радовать. Может утешать. Может задержать гостя за столом. Но чужую волю...

— Все работают с чужой волей, мастер, — сказал падишах. — Поэт, женщина, торговец, судья, палач. Ты просто называешь это вкусом.

— Я не колдун.

Евнух чуть повернулся к нему.

— Осторожнее.

Из-за ширмы донесся тихий смешок.

— Мне не нужен колдун. Колдуны много обещают и плохо держат язык. Мне нужен ремесленник.

Касым почувствовал, как под кафтаном вспотела спина.

— А если у ремесленника не получится?

Падишах не ответил сразу.

В зале стало слышно, как где-то за стеной капает вода.

— Тогда город найдет другого ремесленника. А этот исчезнет из памяти быстрее, чем остывает чай.

Евнух проводил Касыма обратно теми же коридорами. У самой двери он сказал:

— У тебя десять дней.

— На сладость?

— На доказательство пользы.

— А если сладость окажется просто сладостью?

Евнух вздохнул.

— Тогда она станет последней, которую ты приготовил.

Теперь, у котла, Касым слышал этот голос яснее, чем молитки за стеной.

Юсуф поставил мешок с миндалем на пол.

— Уста, вы опять думаете о дворце?

— Мешай.

— Вы всегда говорите «мешай», когда не хотите отвечать.

— Значит, ты плохо мешаешь.

Мальчик взял вторую лопатку и сунул ее в котел. Пар ударил ему в лицо. Он закашлялся, выругался шепотом и тут же виновато посмотрел на учителя.

— Я слышал, — сказал Касым.

— Пар виноват.

— Пар редко виноват. Он только показывает, что человек держит внутри.

Юсуф хотел что-то ответить, но в дверь постучали.

Не кулаком. Ногтем.

Один раз.

Потом еще.

На улице было шумно: каменщики спорили, осел ревел, кто-то гнал телегу. Но этот тихий стук прошел сквозь весь шум и стал слышен так ясно, будто дверь находилась не в лавке, а внутри груди.

— Мы закрыты, — крикнул Юсуф.

Снаружи ответили:

— Сахар закрытым не бывает.

Голос был низкий, сиплый. Так говорят люди, которые долго стояли по горло в холодной воде.

Касым взял нож для резки пастилы.

— Кто там?

Дверь открылась сама.

На пороге стоял высокий человек в мокром темном плаще. Дождя не было, но с его капюшона текло на порог. Лица не видно — только густая тень под тканью. От гостя пахло Золотым Рогом в жару: водорослями, гнилыми веревками, рыбьей чешуей и железом, которое слишком долго пролежало в воде.

Юсуф попятился.

— Уста...

— За спину.

Гость вошел. Вода с плаща падала на доски черными точками.

— Касым-уста, — сказал он. — Падишах хочет сладость.

— Ты из дворца?

— Я старше дворцов.

— Тогда ты ошибся дверью.

— Нет. Ты сам позвал.

— Я никого на звал.

— Вчера ночью, когда сидел у холодной печи и сказал: «Что угодно, лишь бы меня оставили в живых». В этом городе такие слова служат ключом.

Юсуф быстро посмотрел на учителя.

Касым сжал нож.

— Убирайся.

Гость положил на стол маленький кожаный мешочек. Мешочек был старый, стянутый темным шнурком. На коже проступал знак: башня, разрезанная волной.

— Сначала посмотри.

— Я не покупаю у людей без лица.

— Лицо заставляет людей задавать лишние вопросы.

Гость развязал мешочек.

Серый порошок лег на стол тяжелой горкой. Он не пылил. Не рассыпался. Лежал, будто его только что вынули из-под плиты, где он пролежал тысячу лет и все это время слушал шаги над собой.

— Что это? — спросил Касым.

— Память.

— На вид — грязь.

— Все древнее рано или поздно становится грязью. Разница только в том, кто успел на ней помолиться.

Касым отступил от стола.

— Я не стану класть это в сахар.

— Станешь.

— Нет.

Гость повернул капюшон к котлу.

— Падишах дал тебе десять дней. Прошло три. Ты уже испортил шесть варок. Вчера в ночь попросил помощи. Помощь пришла.

— Я просил не тебя.

— Просьбы редко доходят по адресу. Их подбирает тот, кто ближе.

За стеной осыпалась известка. В лавке стало слышно, как густо дышит сироп.

— Пыль сухая, — сказал гость. — Сахар ее не примет.

Касым молчал.

— Нужна влага.

— Вода у меня есть.

— Вода ничего не помнит.

Юсуф сделал шаг назад.

Гость медленно повернулся к нему.

— Нужны слезы.

Касым поднял нож.

— Нет.

— Слезы того, кто потерял здесь дом.

Юсуф перестал дышать. Потом провел рукавом по глазам, будто хотел заранее стереть то, чего еще не было.

— Не трогай мальчика, — сказал Касым. — Возьми мои.

— Твои слезы пахнут страхом за собственную шею. Для первой варки этого мало.

— Тогда варки не будет.

Гость поднял руку. Дверь в кладовую сама собой захлопнулась. Где-то в глубине лавки треснула полка.

— К утру мальчик забудет имя матери, — сказал гость.

— К полудню — твое. К вечеру будет улыбаться каждому,

кто даст ему хлеб. Это тоже милость. Пустые люди меньше страдают.

Юсуф прошептал:

— Уста?

Касым ударил ножом.

Лезвие вошло под капюшон легко, без сопротивления, как в мокрую ткань. Гость даже не покачнулся. Из темноты пахнуло илом и ржавым железом.

— Храбрость, — сказал он. — Редкая приправа. Жаль, бесполезная.

Он вынул нож из собственной тени и положил на стол.

— Выбирай, Касым-уста. Несколько слез сейчас — или весь мальчик к рассвету.

Касым посмотрел на Юсуфа.

Мальчик был бледен. Губы дрожали, но он не плакал. Еще нет. Он ждал, что учитель найдет третью дорогу, потому что дети всегда верят: взрослые знают тайный выход из любой комнаты.

Касым тоже когда-то так думал.

— Сколько? — спросил он.

Юсуф закрыл глаза.

Гость протянул медную чашечку.

— Пока город не услышит.

Потом все стало простым. Ужас вообще любит простоту.

Юсуф сидел на низком табурете у печи и плакал в чашку. Не кричал, не вырывался. Только плечи у него мелко вздра-

гивали, а губы были сжаты так крепко, что побелели.

Касым стоял рядом с ножом в руке и не знал, кого хочет убить сильнее: гостя, падишаха или себя.

— Больно? — спросил он.

— Нет.

— Тогда почему плачешь?

Юсуф поднял мокрые глаза.

— Потому что вы спросили «сколько».

Касым отвернулся.

Гость стряхнул серую пыль в котел, и сироп ответил злым, коротким шипением. Зольный запах на миг пропал, будто его втянули в глубину, а потом поднялся снова — уже не грубый, не пожарный, а тихий, вязкий, спрятанный под ароматы розы, как горечь под медом. Касым бросил миндаль, фисташки, выжал несколько капель лимона, плеснул розовой воды. Пальцы работали точно и привычно: ремесло еще держалось, даже когда душа уже отступила к стене и не хотела смотреть.

— Медленнее, — сказал гость.

— Не учи меня варить сироп.

— Я учу тебя любить город.

— Город можно ненавидеть.

— Конечно. Это один из способов принадлежать ему.

К рассвету масса застыла в широком деревянном ящике. Она была нежно-розовая, почти прозрачная, с золотистыми искрами орехов. Если бы Касым не знал, как она родилась,

он назвал бы ее прекрасной.

Юсуф сидел у стены и смотрел на свои ладони.

— Юсуф, — тихо сказал Касым.

Мальчик поднял голову.

— Да, уста.

Имя осталось. Голос остался. Значит, город взял не все.

Гость провел пальцем по поверхности сладости, слизнул тягучую нить с темного места под капюшоном.

— Хорошо. Теперь разрежь.

— Во дворец? — спросил Касым.

Гость тихо усмехнулся.

— Во дворце не пробуют то, что еще не доказало силу. Падишаху не нужна сладость, которая просто липнет к зубам.

— Тогда кому?

— Тому, кто уже одной ногой стоит на корабле. Чужеземцу, который собрал сундуки, простился с городом и уверен, что утром увидит Стамбул в последний раз.

— Откуда я узнаю такого человека?

— Город приведет.

И город привел.

Французский посол явился через пару часов не за чудом. Его корабль должен был выйти из Золотого Рога, и посол решил увезти несколько коробок восточных сладостей — для дамы в Марселе, чье имя он пока помнил ясно, хотя уже начинал путать цвет ее глаз.

С ним был молодой армянский переводчик. Позади, у ар-

ки с пряностями, крутился невзрачный дворцовый слуга. Он делал вид, что выбирает корицу, но ни разу не посмотрел на товар.

Касым понял: проба началась.

Перед ним на блюде лежали ровные кубики новой сладости, обваленные в белой пудре.

Француз остановился у прилавка, снял перчатку и поморщился.

— Здесь пахнет дымом.

Переводчик повторил по-турецки.

Касым пожал плечами.

— Город недавно горел.

— Он говорит, город недавно горел, месье.

— Я знаю, что он горел. У меня есть глаза.

Посол наклонился к блюду.

— Что это?

— Успокоение горла, — сказал Касым.

Переводчик перевел.

Француз усмехнулся.

— В этом городе даже сладость звучит как болезнь.

Он взял один кубик. Пудра прилипла к пальцам. Посол аккуратно откусил половину.

Касым смотрел на его лицо.

Сначала ничего не произошло. Француз пожевал, скрипел от сладости, открыл рот, чтобы сказать что-нибудь презрительное.

И замолчал.

Его глаза не погасли сразу. Из них просто ушло направление. Он медленно повернул голову к выходу из лавки, туда, где за арками базара кричали рабочие, скрипели телеги и ветер нес пыль от новых стен.

— Месье? — переводчик тронул его за локоть.

Француз прошептал:

— У нас в саду были груши.

— Что?

— Или яблоки?

Переводчик растерянно посмотрел на Касыма.

— Ему плохо?

Француз вдруг улыбнулся. Тонко, счастливо, почти по-детски.

— Как называется этот город?

— Стамбул, месье.

— Да. Конечно. Я всегда хотел здесь остаться.

— Нет, месье. Скоро отправиться корабль.

Француз посмотрел на него с мягким недоумением.

— Какой корабль?

Переводчик побледнел.

Касым сжал край прилавка.

— Заберите его.

— Что вы с ним сделали?

— Заберите.

Француз потянулся за вторым кубиком.

Касым ударил его по руке.

Пудра взлетела белым облачком. В лавке все замерли.

Посол медленно поднял глаза.

На секунду в них появился прежний человек: злой, надменный, живой.

— Как ты смеешь?

Касым наклонился к нему через прилавок.

— Уезжайте. Сегодня. Сейчас. Пока помните, что это значит.

Француз хотел ответить, но взгляд его снова поплыл. Он посмотрел на ладонь, испачканную сахарной пудрой, и тихо засмеялся.

— Снег, — сказал он. — У нас дома тоже был снег.

— Месье...

— Только я не помню где.

Переводчик увел его почти силой.

У двери француз обернулся.

— Мастер.

Касым вздрогнул.

— Что?

— Завтра пришлите еще.

Когда они ушли, Юсуф вылез из-за занавески. Он видел все.

— Вы спасли его?

Касым долго смотрел на блюдо.

— Нет.

— Но вы велели ему уехать.

— Это не одно и то же.

К вечеру дворец уже знал о сладости.

Касым понял это, когда заметил у противоположной арки того самого слугу, который утром выбирал корицу. Теперь тот ел жареный нут и смотрел мимо лавки слишком старательно. Значит, за французом следили. За лавкой тоже.

На третий день пришел евнух в зеленом кафтане. Он взял один кусок, понюхал, но есть не стал.

— Падишах доволен.

— Пусть падишах подавится собственной милостью.

Юсуф ахнул.

Евнух улыбнулся.

— Усталость делает ремесленников смелыми. А смелость

— делает жизнь короче.

— Забирайте рецепт и уходите.

— Рецепт останется здесь.

— Почему?

— Потому что сладость работает только там, где сварена.

Город не любит дальнюю торговлю своей душой.

Касым почувствовал, как внутри что-то проваливается.

— Я больше не буду ее делать.

— Будешь.

— Нет.

— Сегодня утром французский посол отказался садиться на корабль. Сказал, что у него здесь дела. Какие — не пом-

нит. После полудня он купил дом в Пера. К вечеру попросил прислать ему коробку твоей сладости. Это хороший результат.

— Это убийство.

— Он жив.

— Это хуже.

Евнух наклонился к блюду.

— Мастер, люди всю жизнь ищут место, где им не надо страдать о прошлом. Ты дал им такое место.

— Я украл у него прошлое.

— Прошлое — тяжелая вещь. Не каждый умеет носить.

Касым схватил блюдо и швырнул его на пол. Розовые кубики рассыпались по доскам, пудра легла белыми пятнами.

Юсуф отступил.

Евнух даже не моргнул.

— Ночью принесут новый сахар. Завтра сваришь еще.

— А если нет?

Евнух остановился у двери.

— Тогда мы заберем мальчика. Во дворце тоже нужны ученики.

После его ухода Юсуф молча собрал рассыпанные куски в тряпку.

— Не трогай, — сказал Касым.

— Они на полу. Их нельзя продавать.

— Я сказал: не трогай.

Юсуф замер. Один кубик прилип к его пальцам. Мальчик

смотрел на него с отвращением и странной обидой.

— Там ведь мое, — сказал он.

— Что?

— Мои слезы. Вы отдали их чужому человеку.

— Юсуф, положи.

— А если я не хочу, чтобы мое продавали?

Он сунул кубик в рот раньше, чем Касым успел ударить его по руке.

Тишина натянулась между ними, тонкая и холодная, как лезвие ножа.

Потом Юсуф открыл глаза.

— Сладко, — сказал он.

Касым схватил его за плечи.

— Смотри на меня. Как тебя зовут?

— Юсуф.

— Кто я?

— Касым-уста.

— Где твоя мать?

Мальчик нахмурился.

— Она...

Касым стиснул пальцы.

— Где?

Юсуф долго молчал. На лице его появилось странное выражение — будто он прислушивался к песне, доносящейся из другой комнаты.

— Был дым, — сказал он наконец. — И красная ткань на

окне. Или это не у нас было?

— Хватит.

— Я помню ее руки. Нет. Не руки. Запах. Она пахла...

Он улыбнулся.

— Розой.

Касым отпустил его.

Мальчик не забыл свое имя. Не забыл учителя. Но горе, самое острое, самое личное, уже начало превращаться во что-то мягкое и сладкое. Город не съел Юсуфа. Он только надкусил.

Ночью Касым не спал.

Он сидел у печи, смотрел на холодный котел и слушал, как мальчик ворочается за занавеской. Ближе к рассвету дверь снова открылась сама.

Человек без лица вошел без стука.

— Первые всегда сопротивляются, — сказал он.

— Что будет с теми, кто съест?

— Они останутся.

— Все?

— Кто-то телом. Кто-то памятью. Кто-то будет уезжать и возвращаться, пока не поймет, что давно живет здесь, находясь на другом краю земли.

Касым взял мешочек с серой пылью.

— Сгорит?

— Нет.

— Утонет?

— Нет.

— Если высыпать на ветер?

— Ветер отнесет ее к людям.

Касым посмотрел на Юсуфа, спящего за занавеской. Мальчик дышал неровно, как после долгого плача.

— Значит, ее можно только запереть.

Гость не ответил.

— В сосуде, — сказал Касым.

Темный капюшон чуть склонился.

— В человеке.

— В мастере.

Теперь гость молчал слишком долго.

Касым понял, что наконец сказал что-то опасное.

— Если город хочет руки, пусть возьмет мои. Если хочет память, пусть подавится моей. Но мальчик уйдет.

— Ты не удержишь город в себе.

— Я не собираюсь удерживать. Я собираюсь застрять у него в горле.

Он высыпал серую пыль в чашку с водой. Вода стала мутной, тяжелой. Касым добавил розовую эссенцию, ложку сахара, размешал пальцем.

Юсуф проснулся от шума. Выскочил из-за занавески бо-сой, растрепанный.

— Уста!

Касым поднял чашку.

— Слушай меня, Юсуф. Завтра возьмешь деньги из тай-

ника под третьей доской. Купишь место на любом судне. Не спорь. Не прощайся. Не оглядывайся на минареты, на чайк, на базар. Если почувствуешь запах розы — беги быстрее.

— Я не уйду.

— Уйдешь.

— Вы обещали научить меня тянуть сахарные нити.

Касым улыбнулся. Вышло криво.

— Первая нить всегда рвется.

Он выпил.

Сладости в этом вкусе не было.

Сначала пришел камень — мокрый, древний, холодный до ломоты в зубах. За ним хлынула морская соль, горькая, как вода у крепостных стен после шторма. Потом — дым пожаров, осад и разграбленных домов. И только в самом конце раскрылась роза: не нежная, не садовая, а резкая, почти кровавая, как алый след на белом шелке.

У Касыма подломились ноги. Лавка отступила от него, стены истончились, и за ними проступило то, что обычно скрыто от глаз живых.

Он увидел город снизу.

Не улицы. Корни.

Под базаром лежали старые фундаменты. Под ними — еще более старые. Камни, кости, черепки, монеты, обугленные балки, обрывки молитв. Византийские арки держали на себе османские своды. Языческие плиты спали под мусульманскими коврами. Вода текла в темноте, шепча имена, ко-

которые люди давно стерли с карт.

И все это смотрело на него.

Не глазами — тяжестью.

Касым понял слишком поздно: город не искал жертву, чтобы закончить рецепт. Город искал руки, которые будут повторять его без устали.

Он хотел крикнуть Юсуфу: беги.

Но язык лежал во рту тяжелый, сладкий, чужой.

Тогда он сделал последнее, что мог. Схватил нож для резки пастилы и провел им по собственной ладони. Не глубоко. Достаточно, чтобы боль вернула ему один человеческий миг.

— Юсуф, — выдавил он.

Мальчик застыл.

— Беги.

Это было последнее слово Касыма.

Наутро лавка открылась сама.

Рабочие, проходившие мимо, увидели за прилавком мастера. Он стоял ровно, спокойно, в чистом переднике. На лице его была мягкая улыбка человека, который больше никуда не спешит. Перед ним лежали подносы с новой сладостью — розовой, янтарной, фисташковой, белой как утренний туман над Золотым Рогом.

— Касым-уста! — крикнул продавец симитов. — Ты когда успел столько наварить?

Мастер повернул голову.

— Угощайся.

— Денег нет.

— Первый кусок — за счет лавки.

Симитчи засмеялся, взял кубик и сунул в рот.

Через минуту он сказал, что, пожалуй, сегодня не пойдет на пристань. Через час забыл, зачем вообще хотел туда идти.

Юсуфа в лавке не было.

Тайник под третьей доской оказался пуст. У причала один лодочник потом вспоминал мальчишку с мешком за плечами. Тот сел на небольшое судно до Муданьи, всю дорогу молчал и, когда Стамбул начал исчезать в утренней дымке, закрыл нос рукавом.

— Плохо тебе? — спросил лодочник.

— Розой пахнет, — ответил мальчик.

— Здесь море, сынок. Какая роза?

Юсуф ничего не сказал.

Он не оглянулся.

А Касым остался.

С годами его лавка меняла вывески, хозяев, язык ценников и форму коробок. Пожары проходили рядом, войны гремели за стенами, империя старела, потом исчезла, трамваи научились звенеть там, где раньше скрипели телеги. Но в глубине Египетского базара всегда находился человек с мягкой улыбкой, который умел нарезать сладость так ровно, будто делил на кубики само время.

Иногда покупатели спрашивали:

— Почему после вашего лукума так хочется вернуться?

Продавец пожимал плечами.

— Хороший сахар.

— А что в нем?

Он улыбался шире.

— Немного розы. Немного памяти. Ничего лишнего.

И щедро обваливал розовые кубики в белой пудре, похожей на пыль, которую город веками стряхивает со своих камней прямо на человеческий язык.

Новелла П. Бархатный фаэтон Перы

**Легенда о черной карете, что является за теми,
кому земля кажется недостойной их подошв**



В ту ночь Пера пахла мокрым углем, дешевым табаком и женскими духами, которыми пытались заглушить усталость. Дождь начался еще до заката и к полуночи стал почти

невидимым. Он не лился с неба, а висел в воздухе холодной пылью, садился на цилиндры, перчатки, ресницы, газовые фонари. Большая улица блестела, будто ее натерли маслом. В лужах плавали отражения вывесок на французском, греческом и армянском, а рядом с ними — лица, монеты и грехи людей, которым этой ночью не хотелось идти домой.

На втором этаже кондитерской мадам Элен играли в баккару.

В карточном салоне было душно. Окна запотели. Зеленое сукно стола потемнело от вина, дыма и человеческих пальцев. На нем лежали карты, золотые монеты, две недокурные сигары и письмо с гербом, которое молодой русский граф еще час назад не собирался доставать.

— Последний банк, — сказал граф.

Он говорил по-французски хорошо, но слишком быстро. Так говорят люди, которые боятся, что если замолчат, то услышат собственный страх.

Месье Валериан Арман поднял глаза от карт.

— Вы говорили это три банка назад.

— Теперь последний.

— Нехорошее слово. В нем слишком мало фантазии.

— Раздавайте.

Валериан улыбнулся.

Он был красив той поздней, чуть подпорченной красотой, которая отлично смотрится при газовом свете и плохо переносит утро. Черные волосы с серебром у висков, тонкие

пальцы, спокойный рот. Когда граф побледнел, Валериан не оживился — только чуть устало поправил манжету.

У камина сидела баронесса Штерн и грела бокал коньяка в ладони. Грек-банкир Деметриос молчал, положив толстые пальцы на трость. Мадам Элен стояла у двери и смотрела не на карты — на лицо графа.

Графа звали Павел Сергеевич Оболенский, но в Пере его называли просто русским графом. Настоящие имена здесь редко жили долго. Их быстро меняли на звания, долги, привычки или скандалы.

— Может, хватит? — сказал Деметриос.

Граф не посмотрел на него.

— Я сам знаю, когда хватит.

— В этом и беда, — заметил Валериан. — Люди почти никогда не знают. Обычно за них решает стол.

Граф дернул уголком рта.

— Вы сегодня разговорчивы.

— Вы сегодня разорительны. Салон требует равновесия.

Баронесса тихо засмеялась. Граф покраснел.

— Ставлю все.

— У вас уже нет «все», — сказал Деметриос.

— Есть.

Граф вынул из внутреннего кармана сложенный лист. Бумага была плотная, с гербом. Он положил ее на стол так осторожно, словно это был не документ, а тонкая кость.

Мадам Элен шагнула вперед.

— Павел Сергеевич.

— Не надо, мадам.

— Подумайте.

— Я уже подумал.

— Вот именно, — сказал Валериан. — Иначе вы бы не продолжали.

Граф посмотрел на него с ненавистью.

— Это закладная.

— На что?

— Дом под Одессой.

— Там, должно быть, сад.

Граф замолчал.

— Есть, — сказал он наконец.

— И мать? — спросила мадам Элен.

Граф не ответил.

Ответ был на его лице.

В салоне стало тише. Даже газовый рожок у двери зашипел осторожнее.

Валериан взял письмо двумя пальцами.

— Мой дорогой, матерей не приносят к карточному столу.

— Раздавайте.

— Как пожелаете.

Карты легли быстро.

Одна.

Вторая.

Третья.

Снизу, из кухни, тянуло кофе и подгоревшим молоком. За стеной капала вода в медный таз. Дождь царапал стекла.

Граф открыл карту и на мгновение перестал дышать.

— Девять, — прошептала баронесса.

Валериан посмотрел на свою последнюю карту.

Он уже знал, что победил.

Можно было не открывать ее. Можно было засмеяться, вернуть графу бумагу и сказать, что даже в Пере есть ночи, когда жестокость выглядит дурно. Мадам Элен именно этого и ждала — не доброты, нет, она не была так наивна, — хотя бы усталого каприза.

Но Валериан не любил незаконченных сцен.

Он перевернул карту.

Десятка.

Никто не сказал ни слова.

Граф смотрел на стол. На карты. На закладную. На руки Валериана. Потом вдруг рассмеялся — коротко и пусто.

— Значит, всё.

— В игре «всё» длится до следующей игры.

Валериан придвинул выигрыш к себе.

Граф встал. Стул закрипел по паркету.

— Верните письмо.

— Вы проиграли.

— Там моя мать.

— Вы должны были вспомнить об этом раньше.

Мадам Элен резко сказала:

— Месье Арман.

— Да?

— Иногда выигрыш можно не брать.

— Конечно. Если человек играет для милостыни.

— А вы для чего играете?

Валериан чуть наклонил голову.

— Чтобы не слышать, как скрипит время.

Граф шагнул к нему.

— Вы шулер.

Деметриос перехватил его за плечо.

— Павел, тише.

— Он шулер!

Валериан спокойно посмотрел на него.

— Докажите.

— Я вызову вас.

— На дуэль? Под дождем? В грязи? Вы окончательно хотите испортить вечер?

— Вы боитесь?

— Я боюсь только грязи, скуки и дурно сшитых жилетов. Смерть в этом списке не первая.

Баронесса нервно прикрыла рот веером. Мадам Элен не улыбнулась.

Граф вырвался из рук Деметриоса и ударил Валериана по щеке.

Не сильно. Но в салоне это прозвучало громче выстрела.

Валериан медленно повернул голову обратно. На щеке

осталась красная полоса.

— Теперь, — сказал он, — вы проиграли еще и стиль.

Граф стоял перед ним, тяжело дыша.

— За вами приедут.

— За всеми когда-нибудь приезжают.

Граф наклонился ближе. Голос у него стал ниже, почти спокойный.

— Здесь, в Пере, есть черный фаэтон. Без кучера. Без фонаря. Он приезжает за теми, кто слишком долго морщит нос от земли. За теми, кому грязь кажется страшнее чужой беды.

У камина кто-то прошептал:

— Не надо.

Но граф уже говорил не салону. Салон для него погас: баронесса, банкир, мадам Элен, зеленое сукно, золото — все отступило куда-то в табачный дым. Остался один Валериан, аккуратный, красивый, с чужим домом у сердца.

— Няня моя, дура старая, рассказывала, — сказал граф.

— Есть в Пере фаэтон без кучера. Не ищет, не гонится, не хватает за ворот. Стоит себе в тумане, как чиновник с готовой бумагой, и ждет, пока человек сам попросит печать. Если уж позвал — все. Хоть весь квартал вцепись ему в рукава, не удержат. Дверцу он открывает только тем, кто давно мечтал ехать по жизни, не пачкая подошв.

Валериан посмотрел на него с вежливым оживлением человека, которому наконец подали не совсем пресное блюдо.

— Наконец-то в вашем роду нашлось что-то заниматель-

ное.

— Вы сядете в него сами.

— Если экипаж хорош — отчего же не сесть?

— Потому что пешком вам будет противно. Вот и вся ваша трагедия, месье Арман. Не рок, не дьявол, не кара небесная. Просто грязь на туфлях.

Валериан поправил закладную во внутреннем кармане жилета и пригладил лацкан, будто закрывал крышку на гробике.

— Пешком ходят те, у кого нет выбора.

— Нет, — сказал граф. — Пешком ходят живые.

И тут, к неудовольствию Валериана, в салоне никто не рассмеялся. Даже баронесса застыла с веером у губ.

Павла Сергеевича вывели почти силой. Он не сопротивлялся. У двери обернулся и посмотрел на Валериана так, будто хотел сказать что-то последнее, но не нашел слова, достойного собственной гибели.

Когда дверь закрылась, салон выдохнул.

Кто-то попросил коньяку. Баронесса заговорила о новой итальянской певице. Деметриос сел обратно и начал тереть переносицу. В Пера умели переступать через чужое несчастье так же ловко, как через лужу: главное — не смотреть вниз.

Снизу хлопнула входная дверь.

Потом долго ничего не было слышно, кроме дождя. Наконец портье, стоявший у окна лестничной площадки, тихо

сказал:

— Он пошел вниз.

— Куда вниз? — спросила мадам Элен.

Портье не ответил сразу.

— К мосту.

Мадам Элен закрыла глаза.

Валериан взял со стола бокал.

— В такую погоду полезно гулять. Охлаждает голову.

Мадам Элен подошла к нему.

— Верните ему бумагу.

— Поздно.

— Для кого?

— Для него. Для меня. Для вашей добродетели, если она надеялась сегодня выйти на сцену.

— Вы не понимаете, что делаете.

— Напротив, мадам. Я очень хорошо понимаю. Поэтому и выигрываю.

Она посмотрела на него устало.

— Вы думаете, город ничего не слышит?

— Город слишком занят. В нем режут баранов, продают фальшивые монеты, прячут любовников, травят мужей, молятся, воруют, рожают и умирают. Ему не до карточного стола.

— Старые города как раз слышат мелочи. Крики они забывают. А такие слова — нет.

Валериан взял со стола трость с серебряным набалдашником.

ком.

— Тогда пусть старый город запишет: Валериан Арман благодарит его за вечер и просит прислать приличный экипаж. Без запаха мокрой лошади.

Мадам Элен побледнела.

— Не шутите так.

— Я не шучу. Я действительно терпеть не могу мокрых лошадей.

Он поклонился ей, баронессе, Деметриосу и вышел.

На лестнице было прохладно. Из кухни тянуло корицей, кофе и подгорелым молоком. Внизу служанка мыла чашки и напевала армянскую песню — тихо, будто боялась разбудить дом.

У входа сидел старый портье в феске. Он поднялся, едва увидев Валериана.

— Экипаж, бей?

— Если в этом районе еще остались люди, способные управлять лошадью.

Портье открыл дверь, выглянул наружу и недовольно цокнул языком.

— Плохая ночь. Извозчики ушли к Галате. Брусчатка скользкая.

— За хорошие деньги и в дождь находятся колеса.

— Не в каждую ночь.

Валериан надел перчатки.

— Тогда найдите того, кто верит в деньги сильнее, чем в

дождь.

Портье не двинулся.

— Останьтесь до утра.

— Здесь пахнет проигрышем.

— На улице тоже.

— Но там он хотя бы проветривается.

Портье помялся.

— Граф говорил не все глупо.

— Граф сегодня многое делал глупо.

— Про черный фаэтон у двери не говорят.

Валериан остановился.

— И вы туда же?

— Я тридцать лет открываю двери в Пере, бей. Человек с такой работой узнает, где сказка, а где вещь, о которой лучше молчать.

— Прекрасно. Вы могли бы писать надписи на могильных плитах.

— Я могу закрыть перед вами дверь, бей. Но если вы сами выйдете — ни один засов в Пере вас уже не удержит.

— А если я останусь?

— Тогда, может быть, утро вспомнит о вас раньше тумана.

Валериан рассмеялся.

— Какая роскошь. Портье с поэтическим даром.

Старик опустил глаза.

— Я землю люблю. Ногами.

— Вот и оставайтесь с ней в счастливом браке.

Валериан вышел под дождь.

Сначала улица была обычной: мокрая брусчатка, мутные фонари, закрытые лавки, темные окна. Где-то далеко лаяла собака. Из канавы поднимался кислый запах. Под навесом на другой стороне двое мужчин делили сигарету и спорили по-гречески.

Он сделал несколько шагов.

Грязь сразу легла на носки лакированных туфель.

Валериан остановился.

— Отвратительно.

Сказал тихо, почти себе. Но улица услышала.

Двое под навесом замолчали. Один быстро перекрестился. Второй отвернулся и втянул голову в воротник.

Валериан поднял трость, высматривая экипаж.

Улица начала пустеть.

Не люди уходили — звуки. Сначала оборвался далекий лай. Потом исчезла греческая речь. Потом дождь стал падать без шороха, будто брусчатку накрыли толстым сукном.

Газовые фонари еще горели, но свет вокруг них стал тяжелее. Пера отступала. Не исчезала — отступала, как хозяйка дома, которая вдруг поняла, что в гостиной сейчас будут говорить с мертвым.

Из тумана донесся стук копыт.

Медленный.

Ровный.

Слишком ровный для живой лошади.

Он должен был обрадовать: экипаж, наконец-то. Но в этом стуке не было ни раздраженного кашля кучера, ни скольжения подков по мокрому камню, ни усталого дыхания животных. Только сухой, мерный ритм, будто где-то в пустой комнате отбивали счет.

На углу потемнел туман.

Оттуда выехал фаэтон.

Черный.

Не черненный лаком, не выкрашенный для траура. Он был таким, словно его вырезали из самой темной части ночи, куда не попадает свет фонарей. Бока экипажа не отражали огни — они их глотали. Колеса вращались бесшумно. Две вороньи лошади шли ровно, опустив головы, и мокрые гривы липли к их шеям длинными черными прядями.

На козлах никого не было.

Вожжи лежали в воздухе и исчезали в тумане над пустым сиденьем.

Фаэтон остановился перед Валерианом.

Дверца открылась сама.

Изнутри потянуло сухим теплом, старым бархатом, фиалками и чем-то металлическим.

Валериан увидел пустые козлы. Увидел вожжи, которые держались в воздухе сами собой. Увидел, как портье за стеклом у двери салона беззвучно шевелит губами.

На миг он почти испугался.

И именно это решило дело.

Испугаться перед старым портье, после графа, после всех своих слов о грязи и земле, было бы хуже смерти. Это было бы дурным тоном.

Сзади донесся хриплый шепот:

— Бей. Не садитесь.

Валериан не обернулся.

— Вы нашли мне экипаж?

— Нет.

— Тогда не присваивайте себе его заслуг.

— Это не экипаж.

— Тем лучше. Экипажи в Пера обычно пахнут чесноком.

— Бей, ради матери...

Валериан резко повернул голову.

— Не произносите это слово после русского графа. Сегодня его и так слишком часто таскали по полу.

Портье стоял в дверях. Старик казался ниже, чем минуту назад.

— Земля грязная, — сказал он. — Но она держит чело- века.

Валериан посмотрел на брусчатку, на лужу, на свою испачканную туфлю. Потом — на открытую дверцу и темный уют внутри.

— Меня всю жизнь утомляло то, что меня держит.

Он сел.

Дверца закрылась мягко, почти ласково.

Внутри оказалось просторнее, чем снаружи. Сиденья бы-

ли обиты темно-бордовым бархатом. На ощупь он был сухим и теплым, хотя дождь за стеклом усиливался. По стенкам шли тонкие узоры: виноградные листья, маленькие короны, крылатые звери, лица без глаз. Валериан провел пальцем по одному из узоров и сразу убрал руку. Бархат едва заметно шевельнулся.

— В отель «Пера Палас», — сказал он.

Ответа не было.

Фаэтон тронулся.

Первые минуты Валериан почти наслаждался. Ход был безупречен. Ни толчка, ни скрипа. Так можно было везти умирающего короля или невесту, которая еще не знает, что жених мертв.

Он достал портсигар, но спичка не зажглась. Вторая тоже. Третья переломилась в пальцах.

— Сырость, — пробормотал он.

За окном клубился туман.

Пять минут.

Десять.

Отель должен был появиться давно: желтые окна, ступени, портье, запах политуры и дорогой усталости. Но за стеклом не было ни отеля, ни лавок, ни фонарей. Только серое движение. Иногда в нем проступали темные контуры — арка, лестница, колонна, стена — и тут же исчезали, словно фаэтон ехал не по улице, а по чужим воспоминаниям о городе.

Валериан постучал тростью в переднюю стенку.

— Эй. Мы проехали.

Тишина.

Он постучал сильнее.

— Кучер.

Из бархата напротив донесся тихий смешок.

Валериан замер.

Смешок повторился. Не человеческий. Сухой, тонкий, словно шелк порвался в закрытом шкафу.

— Кто здесь?

Бархат на сиденье напротив чуть вдавился, будто на него сел невидимый пассажир.

— Вы просили хороший экипаж, месье Арман.

Голос шел не снаружи. Он проступал из стенок, пола, теплой темной обивки.

Валериан сжал трость.

— Назовитесь.

— Вы не любите имена. Сегодня вы получили чужой дом и ни разу не спросили, как звали женщину, которая ждала в нем сына.

— Это была игра.

— Конечно. Люди называют игрой все, за что не хотят отвечать.

Валериан дернул ручку дверцы. Она не поддалась.

— Остановите.

— Но вы едете туда, где не нужно касаться земли.

— Остановите, говорю.

— Земля вам отвратительна. Люди скучны. Дома для вас — бумага с печатью. Я ничего не прибавляю, месье. Только везу вас туда, куда вы попросили.

Фаэтон прибавил ход.

За окном уже не было даже тумана. Там лежала чернота, иногда прорезанная далекими огнями. Но огни были не городские. Они стояли рядами, низко, неподвижно, как свечи у гробов.

Валериан ударил тростью по стеклу.

Стекло не звякнуло. Оно приняло удар мягко, будто было сделано из застывшей воды.

— Я заплачу.

— Вы уже заплатили.

— Сколько?

— Дом под Одессой. Щека, по которой вас ударили. Слова, сказанные у двери. Грязь на правой туфле. Достаточно мелочей, чтобы город услышал.

— Что вам нужно?

— Мне? Ничего.

— Тогда выпустите меня.

— Поздно.

Валериан почувствовал запах антоновки.

Запах был слабым, северным, домашним. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять: он идет не из кареты. Он идет из стекла.

В темном окне напротив проступила комната: простая го-

стиная, белая скатерть, старые часы, женщина у окна. Она держала письмо и смотрела на дорогу. Лицо ее было размыто, но руки видны ясно — тонкие, сухие, с вздутыми венами.

— Что это? — спросил Валериан.

— Дом, который вы выиграли.

— Уберите.

— Вы не хотели знать, что лежит на столе. Теперь посмотрите.

Женщина в отражении подняла голову, будто слышала шаги.

— Это не мое, — сказал Валериан.

— Уже ваше.

— Я не виноват, что граф глуп.

— Никто не виноват. Все только раздают карты.

Он закрыл глаза.

Когда открыл, напротив сидел Павел Сергеевич.

Не совсем живой. Не совсем мертвый. Мокрые волосы прилипли ко лбу, воротник был расстегнут, на губах белела пена. Он смотрел на Валериана без злобы. Это было хуже.

— Вы успели? — спросил Валериан.

Граф улыбнулся.

— Куда?

— Домой.

— Какой дом?

У Валериана неприятно сжалось сердце.

— Что с вами?

— Ничего. Я шел. Был дождь. Потом мост. Потом вода.

А потом стало тихо.

— Вы умерли?

— В Пера это не всегда важно.

— Я не бросал вас в воду.

— Нет.

— Я не убивал вас.

— Нет.

— Тогда почему вы здесь?

Граф наклонился вперед.

— Потому что вы не любите ходить пешком.

Валериан вскочил, ударился головой о низкий потолок и рухнул обратно. Бархат под ним был уже не теплым. Он стал влажным.

— Выпустите меня!

— Дверь открывалась, — сказал граф. — До того, как вы сели.

— Я требую...

— У кого?

Валериан замолчал.

Фаэтон летел.

Теперь копыта стучали не снаружи, а у него в груди. Ровно. Сухо. Безжалостно. С каждым ударом из памяти выпадала какая-нибудь мелочь: вкус утреннего кофе в Париже, имя первой любовницы, запах отцовского кабинета, цвет обоев в комнате, где он болел ребенком.

Он пытался удержать хоть что-то и вдруг понял, что всю жизнь хранил не воспоминания, а позы. Красивые положения тела перед зеркалом.

— Я не хочу, — сказал он тихо.

— Наконец-то простая фраза, — ответил бархат.

— Я выйду. Пусть будет грязь.

— Грязь была милостью.

— Я пойду пешком.

— Пешком ходят те, кто еще принадлежит земле.

Валериан бросился к дверце всем телом.

На этот раз она распахнулась.

За дверью не было улицы.

Там лежал широкий серый путь, уходящий в туман. По обеим сторонам стояли кареты всех времен: византийские повозки с облезлыми занавесями, османские экипажи с потускневшими кистями, европейские кареты и фаэтоны, военные дрожки, похоронные катафалки.

В каждой кто-то сидел.

Кто-то смеялся. Кто-то молился. Кто-то бился в стекло. Кто-то уже давно перестал.

Впереди чернели ворота.

Не дворцовые. Не кладбищенские. Старше.

У них не было створок. Только два каменных столба, между которыми туман становился плотнее ночи.

— Куда это? — прошептал Валериан.

Граф исчез. Бархат напротив снова был пуст.

Голос ответил:

— Туда, где останавливаются те, кто всю жизнь ехал мимо.

Валериан попятился от открытой дверцы, но пол ушел из-под ног. Он не упал. Хуже: повис на мгновение в пустом воздухе между экипажем и серой дорогой, нелепо взмахнув руками, как человек, которому впервые не предложили поручня.

Потом что-то мягкое подхватило его.

Бархат.

Он обвился вокруг запястий, шеи, груди. Не душил. Удерживал. Бережно, почти учтиво. Как слуги удерживают пьяного хозяина, чтобы тот не испачкал ковер.

— Нет, — сказал Валериан.

Фаэтон пересек ворота.

Наутро Пера снова пахла мокрым углем, кофе и деньгами. Дождь кончился. Дворник перед кондитерской мадам Элен выметал с крыльца листья, окурки и мокрую пудру, смытую с женских лиц. У самой ступени он нашел лайковую перчатку.

Правую.

Почти новую, тонкую, дорогую. На запястье темнело маленькое пятно, похожее на след от грязной воды.

— Чья? — спросила служанка, вынося ведро.

Дворник поднял перчатку двумя пальцами.

— Господина Армана, кажется.

Мадам Элен вышла на порог. Лицо у нее было серое.

— Он вернулся?

— Нет, ханым.

Портье, всю ночь просидевший у двери, сказал:

— Не вернется.

Служанка перекрестилась.

— Может, он уехал в отель?

Портье посмотрел на мокрую улицу.

— Этот экипаж не ездит в отели.

Днем в салоне говорили, что месье Арман, вероятно, сбежал с выигрышем. К вечеру — что его видели на пароходе. Через неделю — что он уехал в Париж. Через месяц все решило, что так даже лучше: человек с его характером должен исчезать красиво.

Только мадам Элен не выбросила перчатку.

Она положила ее в маленький ящик под стойкой, рядом с забытыми веерами, письмами без адреса и серебряной пуговицей, которую когда-то нашли после другой дождливой ночи.

Иногда, когда туман с Золотого Рога поднимался особенно густо, дверь салона сама собой приоткрывалась. Газовые рожки начинали шипеть тише. Карты на столах чуть сдвигались, хотя окон никто не открывал.

И тогда издалека, с Большой улицы Пера, доносился ровный стук копыт.

Мадам Элен говорила гостям:

— Господа, сегодня игра закончена.

— Но еще рано, — возмущались новые графы, банкиры, чиновники, поэты и бездельники.

— В Пера рано не бывает, — отвечала она. — Бывает только вовремя.

И закрывала дверь на засов.

А за окном туман медленно катился по брусчатке, приглаживая грязь, как бархат приглаживает следы на сиденье. Где-то в этой серой глубине черный фаэтон терпеливо ждал следующего человека, который назовет землю отвратительной и сам откроет дверцу.

Новелла III. Письма между башнями

Легенда о Галатской и Девичьей башнях



Старик Али-реис говорил, что у воды есть память, но нет совести.

Джемаль услышал это в первую же ночь на Девичьей башне, когда лодка, доставившая его из Ускюдара, уже исчезла в

темноте, а Босфор под стенами шевелился черным, тяжелым зверем.

Дело было в поздние османские годы, когда в Пера уже звенели трамваи и вывески писали по-французски, но на Девичью башню все еще возили масло в бочонках, а туман над Босфором считали не погодой, а предупреждением.

— Запомни, мальчик, — сказал Али-реис, ставя на стол медный чайник. — Вода принимает все: кольца, письма, тела, обещания. Но ничего не возвращает так, как взяла.

— Я не мальчик, — сказал Джемаль.

Старик посмотрел на него одним глазом. Второй глаз был мутный, молочный, похожий на гальку, которую слишком долго катало море.

— Сколько тебе?

— Двадцать два.

— Значит, мальчик. Мужчина начинается после первой глупости, за которую уже нельзя извиниться.

Джемаль хотел ответить, но башня под ними глухо содрогнулась от удара волны. Не сильно — так, будто кто-то снизу приложил ладонь к камню и попросил пустить его внутрь.

— Это нормально? — спросил он.

— Для башни — да. Для людей — редко.

Девичья башня стояла посреди воды так, словно ее когда-то поставили здесь в наказание. Белые стены днем казались почти праздничными, но ночью, под ветром и мокрым небом, башня становилась другой: узкой, насторожен-

ной, слишком одинокой. От нее пахло солью, ламповым маслом, старой известью и мокрыми канатами.

Джемаля прислали сюда помощником смотрителя. Работа была простая: чистить стекла фонаря, проверять масло, смотреть за огнем, принимать лодку с припасами, не спать в туман и не задавать лишних вопросов старому Али.

С последним у него сразу вышло плохо.

— А Галата отсюда видна? — спросил он, когда они поднялись на площадку фонаря.

Али-реис остановился.

— Зачем тебе Галата?

— Просто спросил.

— Просто спрашивают о погоде. О цене хлеба. О том, где здесь нужник. Про Галату спрашивают не просто.

Джемаль подошел к узкому окну.

За водой и темными крышами, на другом берегу, в мутном ночном воздухе стоял черный силуэт башни. Галатская башня казалась не строением, а застывшим движением — будто каменный великан хотел когда-то шагнуть к морю, но передумал и остался смотреть.

— Там моя невеста, — сказал Джемаль.

— В башне?

— В Галате. Отец держит лавку у церкви Святого Антония. Она шьет перчатки.

— Гречанка?

— Армянка.

— Еще лучше, — проворчал Али. — Значит, у вас не любовь, а собрание будущих неприятностей.

— Ее зовут Мариам.

— Башне все равно, как ее зовут.

Джемаль повернулся.

— Какой башне?

Старик долго смотрел на него. Потом открыл железную дверцу фонаря и начал проверять фитиль.

— Всем.

— Вы всегда так отвечаете?

— Когда не хочу, чтобы человек умер глупым, — да.

Ветер дернул пламя. Стекла фонаря на миг вспыхнули желтым, и в этом слабом дрожащем свете лицо Али показалось Джемалю не старым, а очень усталым.

— Слушай сюда, помощник. В обычные ночи смотри на воду, на лодки, на огонь. В туман — на звук. В бурю — на стены. Но если увидишь свет с Галаты, не отвечай.

— С Галаты?

— Да.

— Но Галатская башня не маяк.

— Вот именно.

Джемаль усмехнулся.

— Может, кто-то фонарь поднимет.

— Может. А может, мертвец постучит в дверь и скажет, что забыл шапку. Не всякому стуку надо открывать.

— Вы меня пугаете?

— Пытаюсь. Но ты молод, значит, зря.

Али поправил фитиль, хотя тот и так горел ровно.

— Иногда вода приносит сюда чужие слова, — сказал он.

— Не целиком. Обрывками. Женский смех из Галаты, ругань лодочника из Эминёню, молитву с азиатского берега. Башня слушает. Запоминает. А потом повторяет, когда ей это нужно.

— Башня?

— А ты думал, камень глухой? Камень просто не торопится отвечать.

— Вы сами когда-нибудь слышали?

Али-реис закрыл дверцу фонаря и долго возился с засовом.

— Дураков в этом городе всегда хватало.

— Это не ответ.

— Это лучший ответ, который ты получишь сегодня.

На следующий день Джемаль понял, что старик был не просто нелюдимым. Он жил с башней как с капризной женой: ворчал на нее, слушал ее камни, касался стены ладонью, прежде чем спуститься по лестнице, и каждый вечер, зажигая фонарь, произносил одно и то же:

— Светим людям. Не им.

— Кому — им? — спросил Джемаль на третий вечер.

— Башням.

— Башням не нужен свет.

— Вот это ты им и скажи, когда попросят.

Они ужинали чечевицей, хлебом и солеными маслинами. За стеной плескалась вода. Иногда ударяла сильнее, и чашки тихо дребезжали на столе.

— Вы правда думаете, что башни говорят между собой? Али подцепил хлебом чечевицу.

— Думаю? Нет. Думать — занятие для людей, у которых есть свободное время. Я видел.

— Что?

— Как они говорят.

Джемаль засмеялся.

— Камни?

— У камня терпения больше, чем у человека. Этого достаточно, чтобы однажды он начал говорить.

— И о чем им говорить?

Старик поднял на него мутный глаз.

— О том же, о чем все говорят, когда не могут дотронуться друг до друга.

Джемаль перестал улыбаться.

Мариам жила на другом берегу, и с каждым вечером этот берег казался дальше. Днем он видел город: паромы, дым, чайки, минареты, крыши, башни, крикливую жизнь. Ночью видел только темную воду, и вода каждый раз объясняла ему одно и то же: между людьми расстояние измеряется не шагами.

Они придумали свой знак еще до его службы на башне — на крыше дома Мариам в Галате. Внизу торговец орал

про свежий инжир, над трубами кружили чайки, а Мариам держала в руках маленький жестяной фонарь, украденный на полчаса из отцовской лавки.

— Три огня — и ты придешь? — спросила она.

— Если придется, вплавь.

— Не хвастайся. Босфор не любит самоуверенных.

— А ты?

— Я тоже, — сказала она. — Но иногда терплю.

Она улыбнулась, а потом вдруг стала серьезной.

— Только не путай меня с городом, Джемаль.

— Что это значит?

— Город тоже любит звать. Но ему все равно, придешь ты живым или нет.

Тогда он рассмеялся и поцеловал ее руку, потому что был молод и считал тревожные слова красивыми украшениями к любви.

Теперь он носил ее первое письмо за пазухой, пока бумага не пропахла солью и ламповым маслом.

«Ты видишь Галату? Если видишь, значит, я не так далеко».

На девятую ночь пришел туман.

Не тот легкий, молочный, что просто прячет берег и делает голоса мягче. Этот туман поднялся снизу, из воды. Он обвил башню по пояс, потом по грудь, потом закрыл окна, площадку, лестницу, мир. Даже фонарь наверху светил не наружу, а будто внутрь самого тумана, где свет тускнел, вяз

и умирал в двух шагах от стекла.

Али-реис стал молчаливее обычного.

— Масло проверь, — сказал он.

— Проверил.

— Еще раз.

— Только что.

— Значит, руки помнят, а голова еще спорит. Проверь.

Джемаль поднялся к фонарю. Стекла были мокрыми, фитиль горел ровно. Он хотел уже спуститься, когда увидел в тумане слабый огонек.

На другом берегу.

Высоко.

Там, где должна была быть Галата.

Свет мигнул один раз.

Потом второй.

Потом исчез.

Джемаль застыл.

Сердце ударило так сильно, что он слышал его отдельно от моря.

— Али-реис! — крикнул он вниз.

Старик ответил сразу, будто ждал:

— Не трогай фонарь!

— Там свет!

— Я сказал — не трогай!

Джемаль вцепился в металлический поручень.

Огонь на другом берегу мигнул снова.

Один.

Два.

Три раза.

Три коротких вспышки.

И все доводы старика, весь холод тумана, весь Босфор под башней стали вдруг меньше, чем одно имя.

Мариам.

Джемаль схватил рычаг заслонки.

Али-реис уже поднимался по лестнице. Старик бежал неожиданно быстро для своих лет, тяжело дыша.

— Отойди.

— Это Мариам.

— Это не она.

— Вы не знаете.

— Знаю.

— Она могла подняться на крышу. Могла взять фонарь.

У нее отец...

— Мальчик, если любишь ее, не отвечай.

Джемаль повернулся к нему.

— Почему?

Старик остановился на верхней ступени. Туман сочился сквозь щели, и борода его стала мокрой.

— Потому что башни используют человеческие голоса, когда своих им не хватает.

Свет на другом берегу мигнул снова.

Три раза.

Джемаль дернул заслонку.

Фонарь Девичьей башни вспыхнул ярче и на миг прорезал туман длинным желтым клинком. Он направил свет к Галате.

Один.

Два.

Три ответа.

Али-реис ударил его по руке, но было поздно.

Башня под ними вздохнула.

Не закрипела. Не дрогнула от волны. Именно вздохнула — глубоко, с облегчением, так вздыхает человек, который слишком долго держал письмо у самого сердца и наконец нашел, кому его отдать.

— Что я сделал? — спросил Джемаль.

Старик смотрел не на него. На стены.

— Открыл почту.

В эту ночь больше ничего не произошло.

И оттого стало хуже.

Утром туман ушел. Галата стояла на своем месте — сухая, далекая, насмешливая. В Ускюдаре кричали торговцы, лодки шли к пристаням, чайки дрались над водой. Мир делал вид, что не заметил ночного ответа.

Джемаль весь день ждал лодку.

К вечеру пришел рыбак с корзиной хлеба, лука и новостей.

— В Галате слышали что-нибудь? — спросил Джемаль.

Рыбак прищурился.

— А что там слышать? Там всегда шум.

— Про лавку у Святого Антония. Про армянского перчаточника.

— А, Акоп-ага? Жив. Ругается. Значит, здоров.

— У него дочь...

— Мариам? Видел утром. Несла ткань.

Джемаль выдохнул.

— Точно?

— Что я, девушку с минаретом перепутаю?

Али-реис, стоявший у двери, тихо сказал:

— Слышал?

Джемаль не ответил.

После той ночи он ловил себя на странном чувстве: он скучал не только по Мариам. Он скучал по тому, чего никогда не видел, — по белой стене посреди воды, по далекой темной башне, по свету, который не предназначался человеку. Чужая тоска вошла в него тихо, как сырость входит в камень.

Ночью свет с Галаты появился снова.

На этот раз не три вспышки. Одна длинная. Две коротких. Пауза. Еще одна.

Джемаль сидел у окна и не двигался.

Али-реис положил ладонь на его плечо.

— Молодец.

— Что они говорят?

— Не тебе.

— А кому?

— Ей.

— Девичьей башне?

Старик кивнул.

— И давно?

— Дольше, чем мы умеем считать.

— Почему сами не могут?

Али сел напротив.

— Потому что камень тяжел. Потому что вода между нами не просто вода. Потому что есть такие слова, которые нельзя отправить без живого тепла. Башня может ждать тысячу лет, но сказать «я помню» ей все равно нужен человек.

— И что будет, если ответить?

— Она возьмет твой голос.

Джемаль усмехнулся, но смех вышел плохой.

— Я ведь говорю.

— Пока.

Третьей ночью он держался дольше.

Свет на Галате мигал почти час. Не хаотично. Не как фонарь в руке пьяного. В этих вспышках был ритм, терпение и страшная вежливость. Он не просил. Ждал.

Джемаль сидел у стола и сжимал письмо Мариам.

— Она сегодня не прислала ответа, — сказал он.

Али чистил ножом яблоко.

— Она не обязана писать каждый день.

— Вчера тоже.

— Люди работают.

— А если отец запер ее?

— Если запер, завтра рыбак узнает.

— А если сегодня нужна помощь?

Старик отложил нож.

— Скажи правду. Ты хочешь помочь ей или хочешь, чтобы твоя тоска перестала чесаться?

Джемаль резко встал.

— Вы ничего не понимаете.

— Понимаю. Я тоже был молодым дураком. Только у меня не было фонаря на целую башню.

Свет с Галаты дрогнул.

Одна длинная вспышка.

Пауза.

Три коротких.

Джемаль побледнел.

— Это ее знак.

— Нет.

— Вы не знаете нашего знака.

— Зато башни знают все, что слышали однажды.

— От воды?

— От воды.

Джемаль бросился к лестнице.

Али схватил его за рукав.

— Не смей.

— Пустите.

— Она жива.

— Вы не знаете.

— Я знаю, что ты сейчас не к Мариам бежишь. Ты бежишь к собственному страху, и он уже держит дверь открытой.

Джемаль вырвался.

Наверху ветер хлестал по стеклам фонаря, будто пытался выбить из башни последний огонь. Туман стоял густой с тяжелым привкусом соли. А за туманом, черт бы ее побрал, все-таки подмигивала Галата — слабенько, упрямо, с таким каменным нахальством, будто не башня стояла на другом берегу, а кредитор, явившийся за старым долгом.

Джемаль схватил рычаг.

Али-реис не успел подняться.

Фонарь Девичьей башни ответил.

В этот раз Джемаль не ограничился тремя вспышками. Он передал весь их тайный детский язык: «Жди. Я вижу. Я приду. Не бойся».

Когда последняя заслонка закрылась, у него перехватило горло.

Не от дыма или ветра.

Слова внутри него стали тяжелее.

— Джемаль! — крикнул снизу Али.

Он хотел ответить: «Я здесь».

Но из горла вышел только хрип.

Старик поднялся, увидел его лицо и не стал ругаться.

Это было хуже.

— Сколько передал?

Джемаль попытался сказать. Не смог.

— Много, — понял Али. — Ну конечно. Молодые всегда думают, что одно слово мало, и поэтому отдают все.

Джемаль схватил его за рукав, показал на Галату, потом на свою грудь.

— Завтра, — сказал старик. — Завтра узнаем про твою Мариам.

Джемаль мотнул головой.

— Сейчас никак. В туман лодка не пойдет.

Он ударил кулаком по стене.

Башня ответила низким гулом.

Али-реис вздрогнул.

— Не зли ее. Она не виновата, что вы, люди, путаете любовь с тревогой.

К утру Джемаль мог говорить, но тихо. Каждое слово давалось, будто его вытягивали из груди крючком.

— Мариам, — сказал он, когда пришел рыбак.

Тот не понял.

— Что?

Али вмешался:

— Лавка Акопа. Дочь.

— А, — рыбак поставил корзину. — Свадьба у них.

Джемаль ухватился за край стола.

— Какая свадьба?

Рыбак посмотрел на него с жалостью.

— Не ее. Сестры. Мариам весь день бегала с тканями. Красивая, веселая. Передать тебе велела: «Пусть не злится, напишу, когда свадьба кончится».

Али медленно повернулся к Джемалю.

— Слышал?

Джемаль сел.

На лице у него не было облегчения. Только пустота.

— Значит, это была не она.

— Нет.

— А я ответил.

— Да.

— Что я передал?

Старик долго молчал.

Потом сказал:

— Не свои слова.

В эту ночь Джемаль сам поднялся к фонарю.

Али-реис сидел внизу и не мешал. Возможно, понял, что запрет уже поздно держать. Возможно, просто устал.

С Галаты пришел свет.

Один длинный.

Два коротких.

Пауза.

Джемаль ответил.

С каждым движением заслонки голос в нем убывал. Зато внутри, там, где раньше жили его слова, поднималось дру-

гое. Не чужая речь — тяжесть. Образы без языка: каменный холод высокой башни, века дождя по зубцам, дым пожаров, птичьи крики, солнце на белых стенах маленькой башни посреди воды. Ожидание такое длинное, что человеческое сердце просто не было рассчитано на него.

Он понял, что Галата не просит встречи.

Не просит переправы, моста, чуда.

Она просит только одного: чтобы Девичья башня знала, что ее видят.

И Девичья башня отвечала не словами, а светом: «Я здесь».

К рассвету Джемаль почти онемел.

Али нашел его у фонаря. Парень сидел на полу, прислонившись к стеклу. Губы его были сухими, глаза воспаленными.

— Доволен? — спросил старик.

Джемаль слабо улыбнулся.

— Не можешь говорить?

Он покачал головой.

— А писать?

Джемаль вытащил из-за пазухи письмо Мариам и на обороте дрожащей рукой написал:

«Она отвечает».

Али прочитал и сел рядом.

— Конечно отвечает, дурень. Иначе он давно бы рухнул от тоски.

Днем пришла лодка из Галаты.

В ней была Мариам.

С ней — ее младший брат, который всю дорогу делал вид, что приехал только из любопытства и не имеет никакого отношения к чужим сердечным делам.

Мариам поднялась по лестнице быстро, задыхаясь.

— Джемаль!

Он стоял у окна. Обернулся. Улыбнулся. Но не сказал ни слова.

Она остановилась.

— Что с тобой?

Он коснулся горла.

— Заболел?

Али-реис, стоявший в дверях, сказал:

— Отдал голос.

— Кому?

— Башням.

Мариам посмотрела на старика так, как смотрят на безумцев, которым пока нельзя грубить.

— Башням? — переспросила она. — Джемаль, ты слышишь себя?

Он печально улыбнулся.

— Нет, конечно, — сказала она тише. — Не слышишь. Ты и говорить не можешь.

Он взял ее ладонь и положил себе на грудь. Потом показал на Галату. На воду. На Девичью башню под их ногами.

— Я не понимаю.

Он взял уголь и написал на стене рядом с окном:

«Я думал, это ты».

Мариам прочитала. Лицо ее изменилось.

— Три огня?

Он кивнул.

— Это был не мой знак?

Он покачал головой.

Она закрыла рот ладонью.

— А чей?

Джемаль долго смотрел на нее. Потом стер рукавом часть надписи и вывел другое:

«Их».

Мариам медленно села на табурет.

— Башен?

Он кивнул.

Она не засмеялась. За это он полюбил ее еще сильнее и уже не мог сказать.

— Ты можешь уйти отсюда? — спросила она.

Джемаль посмотрел на Али.

— Может, — сказал старик. — Ногами. Не знаю, сможет ли остальным.

— Что это значит?

— Это значит, ханым, что некоторые двери открываются внутрь человека.

Мариам поднялась.

— Я заберу его.

Али пожал плечами.

— Забирай. Только ночью не давай ему смотреть на Галату.

Джемаль взял ее руку.

Он хотел уйти. Правда хотел. Представил берег, лавку, шум улицы, Мариам за столом, ткань, иглу, хлеб, обычные ссоры, обычные счета. Все то, что раньше казалось ему бедным, теперь сияло как спасение.

Но башня под ногами тихо дрогнула.

С Галаты, хотя был день, пришел короткий отблеск. Не фонарь. Солнце скользнуло по какому-то стеклу или влажному камню — случайность, сказал бы любой разумный человек.

Джемаль понял: его зовут.

Мариам сжала его пальцы.

— Не смотри.

Он закрыл глаза.

Но внутри уже видел: высокий темный силуэт на другом берегу, белую башню над водой, расстояние между ними, натянутое ту же струны. И себя — маленького, теплого, живого — случайно ставшего узлом на этой струне.

— Джемаль, — сказала Мариам. — Выбери меня.

Он открыл глаза.

Это была самая тяжелая просьба из всех, что он слышал.

Он взял уголь и написал:

«Я выбирал тебя. Поэтому ответил».

— Тогда выбирай еще раз.

Он смотрел на слова, на ее лицо, на воду за окном.

Али-реис тихо сказал:

— Любовь, мальчик, это не когда тебя рвет на части. Это когда ты не отдаешь чужому то, что обещал живому человеку.

Джемаль повернулся к нему.

Старик стоял, сжимая чайник обеими руками.

— Я не сказал тебе раньше, — продолжил Али. — Моя жена умерла, пока я носил свет башням. Я думал, служу великому. А великое даже спасибо не говорит. Оно только длится.

Мариам посмотрела на него.

— Вы тоже отвечали?

— Когда был таким же умным, как он.

— И что отдали?

Али постучал пальцем по мутному глазу.

— Один глаз. И двадцать лет.

В комнате стало тихо.

Вода билась о камни внизу. Не зло. Терпеливо.

Джемаль медленно отпустил руку Мариам. Подошел к фону. Али дернулся было вперед, но остановился.

Парень положил ладонь на медный рычаг заслонки.

С Галаты пришел еще один отблеск.

Джемаль ответил не светом.

Он ударил кулаком по механизму.

Но не по огню.

Огонь был для лодок, для рыбаков, для людей, которым нужно было вернуться домой. Он бил по медной заслонке — по узкому поворотному горлу света, через которое башня могла посылать тайные ответы только Галате.

Раз.

Еще.

Железо звякнуло. Заслонка сорвалась с крепления и упала на пол.

Фонарь вспыхнул открыто, неподвижно, без тайного направления. Теперь он светил всем сразу — лодкам, воде, берегам, живым.

Башня под ногами издала низкий гул.

Мариам вскрикнула.

Али-реис выругался так, что даже чайник в его руках как будто оскорбился.

— Беги! — крикнул он. — Оба вниз!

Они бросились по лестнице. Стены гудели. Пыль сыпалась из швов. Внизу хлопала дверь, в которую бил ветер. Джемаль толкнул Мариам вперед, сам задержался на площадке и обернулся.

На стене, где он писал углем, проступали влажные темные линии.

Не слова.

Слезы камня.

На пристани их уже ждал младший брат Мариам, белый как мука.

— Что там было?

— Позже! — крикнула она.

Али-реис отвязал лодку.

— Греби, мальчишка!

— Куда?

— К людям!

Лодка отвалила от башни. Ветер толкнул ее боком. Мариам держала Джемалья за руку так крепко, будто боялась, что вода узнает его и потребует обратно.

Девичья башня оставалась позади. Белая, неподвижная, одинокая.

На другом берегу Галата стояла в дымке.

И вдруг обе башни вспыхнули.

Не огнем. Светом. На миг солнце, вода, стекла, мокрый камень — все сложилось в одну ослепительную линию между берегами. Лодочник зажмурился. Мариам вскрикнула. Али-реис склонил голову, будто перед султаном, которого терпеть не может, но признает.

Джемаль смотрел.

Свет прошел через него без боли.

Когда они добрались до берега, он смог сказать одно слово.

— Мариам.

Больше в тот день не вышло ничего.

Она заплакала и засмеялась одновременно.

— Дурак.

Он кивнул.

Али-реис сплюнул в воду.

— Теперь мужчина.

После этого Джемаль больше не служил на Девичьей башне. Он женился на Мариам, чинил лампы, потом держал маленькую лавку с фитилями, стеклами и маслом. Говорил мало не потому, что стал молчаливым. Голос возвращался к нему редко: на имя жены, на детский плач, на короткую молитву во время бури. Все остальное Джемаль писал углем, мелом или пальцем по запотевшему стеклу.

Когда с Босфора поднимался туман, Мариам закрывала ставни, ставила перед ним чай и говорила:

— Не слушай.

Он кивал.

Иногда ночью просыпался и видел на потолке слабое мерцание, будто кто-то далеко-далеко открывал и закрывал ладонь перед огнем.

Тогда он будил жену одним прикосновением.

Мариам брала его руку и держала до утра.

Али-реис остался на башне еще на семь лет. Когда умер, его нашли у фонаря. Одной рукой он держался за стену, другой — за старый медный рычаг. На лице у него было сердитое выражение человека, которому снова пришлось объяснять камням, что люди не обязаны быть почтальонами их

вечности.

С тех пор моряки иногда говорят, что в густом тумане между Галатой и Девичьей башней можно увидеть странное перемигивание света. Не маячный сигнал, не фонарь лодки, не отражение машины на берегу. Что-то старше и тише.

Одна вспышка с Галаты.

Одна с Девичьей башни.

Потом долгая пауза.

Будто две каменные души, разделенные водой, все еще спрашивают друг друга:

«Ты здесь?»

И отвечают:

«Я здесь».

Но если в такую ночь вы стоите у окна в Галате или на палубе последнего парома и вдруг вам покажется, что свет обращен лично к вам, лучше отвернитесь.

Башни любят долго.

А человеческий голос слишком короток, чтобы платить им за переписку.

Новелла IV. Человек, который не хотел падать

Легенда о полете Хезарфена Ахмета Челеби



В Галате говорили, что Ахмет Челеби скоро разобьется.

Говорили без злобы, даже почти ласково — как о чужом пожаре, который, конечно, беда, но если залезть на крышу, зрелище обещает быть отменное.

Сапожник напротив клялся, что видел у Ахмета в окне крыло размером с дверь. Хозяйка водonoса уверяла, что по ночам с его чердака сыплются перья. Мальчишки бегали под окнами и кричали:

— Хезарфен! Эй, тысячеискусник! Покажи, как ученые падают!

Ахмет не отвечал.

Во-первых, отвечать мальчишкам — значит признать переговоры с уличной пылью.

Во-вторых, у него не было времени.

Он сидел на чердаке старого дома у Галатской башни и зашивал ремень. На чердаке приходилось ходить пригнувшись: балки цепляли затылок, пол хрустел стружкой, к сапогам липли перья, а вареной кожей пахло так густо, будто здесь не крылья шили, а варили старый сапог на ужин. Через щели в крыше тянуло ветром с Золотого Рога. В углу стоял котел с клеем. На столе лежали тростниковые прутья, обрезки ткани, ножи, куски кожи, птичьи кости и грязная чашка с остывшим кофе.

Посреди комнаты, занимая почти все место, лежали крылья.

Уродливые.

В будущих рассказах эти крылья, конечно, станут красивыми. Им пририсуют ровные перья, благородный изгиб и почти ангельскую легкость. На чердаке же лежала неловкая, пахнувшая клеем штука, у которой одно крыло было шире

другого.

Исмаил, его ученик, разумно держал это сомнение при себе.

На полке над столом лежало одно длинное темное перо. Не чайчье и не голубиное. Ахмет купил его у старого рыбака, который уверял, что видел такую птицу только раз — перед бурей, когда небо над Босфором стало зеленоватым, а собаки на пристани выли в воду.

— В крыло пойдет? — спросил Исмаил.

— Нет.

— Почему?

— Слишком гордое.

— Перо?

— Рыбак.

Исмаил покосился на него и решил не спорить. С Ахметом некоторые разговоры проще было переждать, как дождь.

— Уста, — сказал он, затягивая ремень, — если вы разобьетесь, меня повесят?

Ахмет поднял глаза.

— За что?

— За то, что узлы мои. Если ремень лопнет, скажут: мальчишка плохо завязал, вот уважаемый человек и разбился.

— Тогда завяжи хорошо.

— Спасибо, уста. Теперь мне гораздо спокойнее.

Ахмет фыркнул.

— Тогда скажешь, что ничего не понимал.

— Мне шестнадцать. Это тоже не поверят. В шестнадцать уже понимают, когда человек собирается сделать глупость.

— Это не глупость.

— А что?

— Расчет.

Исмаил посмотрел на крыло.

— Расчет пахнет дохлой чайкой.

— Потому что ты не вымыл руки после клея.

— Потому что вы опять купили перья у рыбаков. Они вам что угодно продадут, лишь бы вы забрали.

Ахмет взял ремень, потянул, проверил шов.

— Перья хорошие.

— Половина кривые.

— В природе нет прямых линий.

— Зато внизу есть брусчатка. Очень прямая, если лететь головой вниз.

Ахмет отложил ремень и посмотрел на ученика.

— Ты можешь уйти.

Исмаил замолчал.

С улицы донесся крик торговца. Кто-то ругался из-за осла. Где-то хлопнула дверь. Обычный галатский день: узкие улицы, кислый запах рыбы, горячий хлеб, мокрые стены, люди, которым до чужих мечтаний нет дела, пока они не мешают проходу.

— Я не уйду, — сказал Исмаил.

— Почему?

— Потому что если вы все-таки не разобьетесь, я хочу сказать, что этот ремень шил я.

Ахмет улыбнулся.

— Вот теперь говоришь как мастер.

Исмаил хотел ответить, но снизу заколотили в дверь.

Не постучали. Именно заколотили.

— Опять соседка, — сказал он.

— Если из-за запаха клея, скажи, что это лекарство.

— Она вчера сказала, что от вашего лекарства у нее куры перестали нестись.

— У нее нет кур.

— Тем более страшно.

Исмаил спустился. Через минуту на лестнице послышались голоса. Один — его, второй — женский, резкий, уверенный, как нож для чистки рыбы.

— Я ему сама скажу! — кричала женщина. — Пусть он свои птичьи кишки на голове у султана сушит, а не у нас над бельем!

На чердак влетела тетушка Саадет из соседнего дома. Маленькая, широкая, в темном платке, с лицом человека, который давно перестал бояться мужчин, потому что слишком много их пережил.

— Ахмет-эфенди, — сказала она, уперев руки в бока, — у вас от крыши перья летят мне в суп.

— Значит, суп станет сытнее.

— А вчера у меня из дымохода выпал кусок кожи.

— Хорошая кожа?

— Я вас сейчас этой кожей и прибую.

Исмаил кашлянул, пряча улыбку.

Саадет увидела крылья и едва не перекрестилась, как ее соседка-гречанка, но вовремя спохватилась, плюнула через плечо и сердито поправила платок.

— Так это правда.

— Что именно?

— Вы собираетесь прыгать с башни.

— Лететь.

— Падать.

Ахмет вздохнул.

— Тетушка, если бы все, кто не понимает разницы между полетом и падением, молчали, в Галате стало бы тихо как в гробнице.

— В гробнице вы и окажетесь.

Она подошла к крылу и потрогала край двумя пальцами.

— Тяжелые.

— Зато держат.

— Ветер честным не бывает, Ахмет. Он как торговец тканями: пока смотришь — улыбается, отвернулся — обмерил.

Ахмет рассмеялся.

— Вот поэтому я и люблю вас, тетушка.

— Не надо меня любить. У меня от этого хлопот больше.

Она повернулась к выходу, но у лестницы остановилась.

— Ахмет.

Он впервые услышал, что она назвала его без «эфенди».

— Что?

— Сын мой однажды полез на крышу за голубем. Сказал: «Я только посмотрю». Потом я три месяца стирала кровь с лестницы. Не делайте из своей матери такую же женщину.

На чердаке стало тихо.

Ахмет опустил глаза.

— Моя мать умерла давно.

— Тогда не делайте такую женщину из меня. Я тоже человек.

Она ушла.

Исмаил долго смотрел на лестницу.

— Может, правда не надо?

— Надо.

— Почему?

Ахмет сел на край стола. Доска под ним жалобно скрипнула.

— Когда я был маленьким, — сказал он, — под Галатой нашли чайку со сломанным крылом. Она волочила его по земле, шипела и клевала всех, кто подходил. Я хотел забрать ее домой. Отец сказал: «Не трогай. Что упало, то должно лежать».

Исмаил перестал возиться с ремнем.

— И что?

— Через три дня она улетела.

— Сама?

— Сама. Криво, некрасиво, с руганью на весь двор. Но улетела.

— Вы строите крылья из-за чайки?

— Нет, — сказал Ахмет. — Из-за отца. С тех пор я терпеть не могу слово «должно».

Исмаил задумался.

— Уста.

— Что?

— Если бы ваш отец сказал: «Что упало, пусть сначала поест суп», вы бы открыли харчевню?

Ахмет посмотрел на него строго.

Потом рассмеялся.

— Возможно. И ты бы пересаливал чечевицу.

Он подошел к окну. Отсюда была видна Галатская башня. Она стояла совсем рядом, каменная, высокая, с таким видом, будто ей надоели все люди сразу.

— Я не хочу стать птицей, — сказал Ахмет. — Птицы глупые. Они летят, потому что могут. Я хочу понять, почему они не падают.

В тот же вечер к нему пришел человек из дворца.

Не важный паша, не грозный визирь, не злодей из сказки. Обычный дворцовый чиновник по имени Рашид-ага: аккуратная борода, усталые глаза, кафтан без пятен, голос человека, который умеет портить чужие дни без повышения тона.

Он поднялся на чердак, оглядел крылья и сказал:

— Непрактично.

Ахмет поклонился.

— Добрый вечер и вам.

Рашид-ага кивнул Исмаилу.

— Выйди.

— Он останется, — сказал Ахмет.

— Он мальчик.

— Значит, быстрее поймет разговор взрослых.

Рашид-ага посмотрел на него без злобы.

— Вы любите опасные фразы.

— Я люблю короткие.

Чиновник сел на единственный стул. Стул жалобно скрипнул.

— Во дворце спорили, — сказал Рашид-ага. — Одни хотели запретить. Другие решили: пусть прыгает. Если разобьется, меньше хлопот. Если не разобьется, будет на что посмотреть.

— И какое мнение победило?

— Сегодня — второе.

— А завтра?

— Во дворце это слишком далеко.

Исмаил прыснул, но сразу сделал вид, что кашляет.

Рашид-ага посмотрел на крылья.

— Зачем вам это?

Ахмет ответил не сразу.

— Чтобы проверить.

— Что?

— Расчет.

— Люди обычно проверяют расчет на кошках, камнях или бедных родственниках. Вы хотите проверить его на себе.

— Я люблю родственников.

— Разумно.

Чиновник подошел к окну. Внизу, в переулке, мальчишки снова кричали что-то про падение.

— Если вы разобьетесь, вы просто глупец, — сказал он.

— Таких у нас много. Казна выдержит.

— Приятно знать, что в казне для меня уже нашлась строка.

— А если перелетите, завтра мальчишки полезут на крыши. Послезавтра сапожник решит, что может лечить зубы. Через неделю какой-нибудь мулла объявит, что умеет вызывать дождь. И все будут говорить: «А что? Челеби же полетел».

— Вы служите порядку?

— Я служу тому, чтобы утром город просыпался похожим на вчерашний. Работа скучная, но хлебная.

— А если вчерашний город тесен?

Рашид-ага вздохнул.

— Тогда умные люди снимают дом пошире. Не прыгают с башен.

Исмаил тихо сказал:

— А если домов пошире нет?

Чиновник посмотрел на него.

— Тогда они становятся учениками у опасных людей и задают вопросы, которые им не по возрасту.

Ахмет шагнул между ними.

— Что вы хотите?

— Чтобы вы понимали: разрешение не значит милость.

— А что значит?

— Что площадь удобно держать под наблюдением.

Рашид-ага уже поставил ногу на первую ступеньку, но остановился, словно вспомнил неприятную мелочь.

— Если хотите передумать, передумывайте ночью.

— А утром уже нельзя?

— Утром придут люди с печатью. Крылья заберут, дверь закроют, на бумаге напишут: «Никакого полета не было». У нас во дворце это называется навести порядок.

Ахмет посмотрел в окно. Галатская башня стояла рядом, темная и спокойная, будто ее все это не касалось.

— А если утром будет хороший ветер?

— Ветру никто пропуск не выдавал.

Рашид-ага впервые почти улыбнулся.

— Вот с ним и договаривайтесь. С людьми труднее.

Когда чиновник ушел, Исмаил долго молчал.

Потом сказал:

— Он не похож на злодея.

— Большинство бед делают люди, которые не похожи на злодеев.

— Вы все равно полетите?

— Да.

— Даже если утром все отберут?

— Полечу на рассвете.

Ночью Ахмет почти не спал.

Он сидел у крыльев и проверял узлы. Потом проверял снова. Потом еще. Исмаил уснул прямо на полу, укрывшись старым плащом. Во сне он что-то бормотал про ремни и про то, что брусчатка слишком близко.

Перед рассветом Ахмет вышел на крышу.

Галата была серой. Башня темнела на фоне неба. В стороне блеснул Золотой Рог. Впереди лежал Босфор. Дальше, за водой, зеленел Ускюдар — слишком далеко для человека и слишком близко для ошибки.

Город еще спал, но не полностью: где-то кашлял старик, скрипела телега, кричал первый петух, хотя в таких кварталах петухам лучше было бы молчать.

Никакого величия не было.

Был холод, больные пальцы, клей под ногтем и совершенно земное желание дожить до ужина.

Ахмету это не понравилось. Человек, собравшийся спорить с землей, не любит обнаруживать, что земля держит его за живот.

К тому часу, когда солнце уже выбралось над крышами, у Галатской башни собралась толпа.

Пришли все.

Торговцы, которым вдруг стало некуда торопиться. Маль-

чишки, заранее выбравшие места, откуда лучше видно. Женщины с корзинами, солдаты, лодочники, дервиши, греки из лавок, армяне-ремесленники, франки в темных шляпах, нищие, которым сегодня подавали охотнее — все-таки день обещал быть веселым.

Саадет тоже пришла.

— Я думал, вы не хотите смотреть, — сказал Исмаил, увидев ее у стены.

— Не хочу.

— Тогда зачем пришли?

— Если он разобьется, надо будет кому-то закрыть ему глаза. Вы, мальчики, от такого обычно глупеете.

Исмаил сглотнул.

— Он не разобьется.

— Это ты ремни шил?

— Я.

— Тогда молись за свои швы.

На балконе башни Ахмет стоял в крыльях.

Ремни перетягивали грудь. Кожа давила под мышками. Ветер дергал края конструкции и вел себя как лавочник: то обещал помочь, то сразу передумывал.

Исмаил затянул последний узел.

— Дышать можете?

— Могу.

— Жаль. Я надеялся, придется отложить.

Ахмет улыбнулся.

— Руки дрожат?

— У меня или у вас?

— У тебя.

— У меня дрожат за двоих.

— Хорошо, мои будут двигаться свободнее.

Исмаил наклонился к ремню.

— Уста.

— Что?

— Если получится...

— Получится.

— Если получится, скажите всем, что правый ремень — мой.

— А если не получится?

Исмаил побледнел.

Ахмет положил ладонь ему на плечо.

— Если не получится, говори, что я все испортил сам. Это будет почти правда.

Снизу поднялся гул.

Не восторг. Еще нет. Толпа переговаривалась, спорила, смеялась, ругалась, продавала жареные каштаны и места у стены. Люди пришли смотреть чудо, но в глубине души многие надеялись на падение. Чудо требует веры. Падение понятно каждому.

В дворцовом павильоне Топкапы султан Мурад IV смотрел на Галатскую башню.

Рядом стоял Рашид-ага.

— Как думаешь, долетит? — спросил султан.

— Если расчеты верны — может.

— А если неверны?

— Тогда вопрос решится быстро.

Султан усмехнулся.

— Ты говоришь, как врач у постели дальнего родственника.

— Я стараюсь говорить осторожно.

— Осторожность скучна.

— Зато живуча.

Султан посмотрел на крошечную фигуру на башне.

— Он никого не боится?

Рашид-ага помолчал.

— Боится. Но идет дальше. Это хуже.

На балконе Ахмет подошел к краю.

Внизу стихли даже продавцы каштанов. Для Галаты это было почти чудо.

Он посмотрел вниз и сразу пожалел. Брусчатка была далеко, но не настолько далеко, чтобы показаться безопасной. Люди внизу слились в пеструю кашу из лиц, чалм, корзин и открытых ртов.

Исмаил прошептал:

— Не смотрите вниз.

— Поздно.

— Тогда смотрите туда.

Он показал на Босфор.

Вода лежала впереди широкой синей складкой. Над ней ходил ветер. Не ровный, не послушный — живой, капризный, но настоящий.

Ахмет выдохнул.

— Если я начну падать, — сказал он, — не кричи первым.

— Почему?

— Неприлично. Ты мой ученик.

Исмаил зажмурился.

Ахмет шагнул.

О восторге он успел подумать разве что потом. В первую секунду страх ударил в живот так грубо, что все расчеты, чертежи и ученые слова сжались до одной мысли: только бы не рухнуть.

Крылья хлопнули. Неловко, сухо, как мокрая простыня на ветру.

Толпа ахнула.

Ахмет провалился на несколько локтей, и за это короткое падение успел понять сразу три вещи: левый край тяжелее, ремень у груди затянут слишком туго, а умирать он, оказывается, совершенно не готов.

— Ну давай же, — прохрипел он.

Ветер ударил снизу.

Крылья дернулись, выгнулись, поймали поток.

И вдруг падение перестало быть падением. Не стало полетом — еще нет. Но смерть, которая секунду назад тащила его вниз за пятки, ослабила хватку.

Это было совсем не похоже на сказку.

В сказках никто не думает о ремне, который режет подмышку, о левом крыле, которое тянет вниз, и о том, что нос почему-то чешется именно тогда, когда обе руки заняты жизнью.

Ахмет не парил.

Его трясло, крутило, бросало боком. Ветер бил по лицу, как сердитая прачка мокрой простыней. Но крылья держали.

А главное — он не падал.

Сначала толпа молчала.

Это было самое странное. Тысячи людей внизу разом забыли, что у них есть языки. Потом кто-то закричал. Потом еще. Потом шум поднялся такой, что, казалось, сам Золотой Рог задрожал.

Ахмет слышал только обрывки.

— Летит!

— Не может быть!

— Смотри, шайтан его несет!

— Молчи, дурак, это наука!

— Какая наука? У него перья!

Он летел над крышами.

Галата осталась позади. Под ним мелькали дворы, бельевые веревки, плоские крыши, голубятни, люди, задравшие головы. Одна женщина уронила корзину с луком. Мальчишка на крыше так раскрыл рот, что потом наверняка наврал всем, будто видел у Ахмета золотые крылья.

Босфор приближался.

Вот тут Ахмету стало по-настоящему страшно.

Над водой ветер вел себя иначе. Он поднимался рывками, бил сбоку, проваливался, возвращался. Крылья дрожали. Правый ремень скрипнул.

Правый ремень.

Исмаилов.

— Держись, — выдохнул Ахмет.

Ремень выдержал.

Вода прошла под ним темной широкой спиной. От нее пахло холодом. Чайки шарахнулись в стороны с таким возмущением, будто человек лично оскорбил их профессию.

На середине пути Ахмет вдруг перестал ругаться.

Не потому, что стало легко. Легко не стало.

Просто на несколько ударов сердца он понял: воздух не пустой. Воздух держит. Его можно читать, как ткань, как воду, как морщины на лице старика. Он не добрый и не злой. Он просто есть. И если не спорить с ним, а слушать, он позволяет невозможному продержаться чуть дольше.

Эти несколько ударов сердца стоили всех бессонных ночей.

Потом поток изменился, и Ахмет едва не клюнул вниз.

— Рано радуешься, — сказал он сам себе.

Берег Ускюдара рос впереди.

Холмы, деревья, крыши, люди, бегущие к месту, где он должен был упасть или сесть. Ахмет попытался вспомнить,

как именно собирался приземляться. На чердаке это выглядело понятно. В воздухе — значительно хуже.

Он согнул ноги.

Слишком рано.

Выругался.

Выпрямил.

Ветер ударил в спину.

Земля пошла навстречу.

Очень быстро.

Ахмет потянул левое крыло, пытаясь выровнять ход, но ветер тут же дал ему под ребра, словно грубый грузчик на пристани. Земля прыгнула навстречу. Он задел пятками склон, два раза еще как-то побежал — не по своей воле, а потому что ускорение велело, — споткнулся, рухнул на бок и прокатился по траве, набрав в рукава пыли, сухих листьев и такого стыда, что хватило бы на всех ученых мужей при медресе, если бы им вздумалось обсуждать его посадку.

Крылья накрыли его сверху.

Несколько секунд он лежал и слушал, как рядом кто-то кричит.

Потом открыл глаза.

Небо было на месте.

Земля тоже.

Он пошевелил пальцами. Потом ногами.

— Живой, — сказал он.

К нему подбежали люди.

— Живой!

— Он живой!

— Видел? Видел?!

Какой-то мальчишка ткнул пальцем в крыло.

— Можно потрогать?

— Нет, — сказал Ахмет.

— Почему?

— Потому что ты только что был толпой. Толпе нельзя.

Мальчишка не понял, но на всякий случай отступил.

На другом берегу шум все еще катился по городу.

В павильоне султан Мурад молчал.

Рашид-ага смотрел на Ускюдар.

— Долетел, — сказал султан.

— Да.

— Значит, расчеты верны.

— Похоже.

— Плохо.

Рашид-ага не ответил.

Султан повернулся к нему.

— Мы позволили ему прыгнуть, потому что люди любят смотреть, как ломаются чужие кости. Но он не сломался. Это испортило расчет.

— Да, повелитель.

— Скажи мне, Рашид-ага, почему от этого зрелища у меня во рту горчит. И говори прямо. Лесть я сегодня уже слышал.

Рашид-ага вздохнул.

— Потому что теперь все видели: человек может прыгнуть с башни и не умереть. До сегодняшнего дня это было безумием. Завтра это станет мечтой.

Султан кивнул.

— Мечты шумные.

— И заразные.

— Вот именно. А я не люблю шум без моего приказа. Позовите его во дворец.

Ахмета привели в Топкапы на следующий день.

Он плохо спал. Все тело болело. Под левым плечом расплылся огромный синяк. Исмаил хотел идти с ним, но его не пустили.

— Если вас казнят, — сказал ученик у ворот, — мне что делать с крыльями?

— Не продавай сапожнику.

— А если дадут золото?

— Тем более не продавай.

— А если я испугаюсь?

Ахмет посмотрел на него.

— Испугайся. Потом все равно не продай.

Во дворце пахло розовой водой, тяжелыми коврами и кофе, который давно остыл, но по придворной привычке все еще изображал напиток. Ахмет стоял перед султаном и думал, что после боспорского ветра дворцовый воздух кажется вареным.

Мурад IV смотрел на него долго.

— Ты жив.

— Да, повелитель.

— Удивительно.

— Мне тоже так показалось.

Кто-то из придворных тихо кашлянул. Рашид-ага стоял у стены и делал вид, что ничего не слышал.

Султан чуть улыбнулся.

— Ты дерзкий.

— После вчерашнего у меня болит все тело. Дерзость — единственное, что я не ушиб при посадке.

На этот раз кашлянули громче.

Мурад поднял руку, и все замолчали.

— Говорят, ты перелетел из Галаты в Ускюдар.

— Не совсем так красиво, как говорят.

— А как?

— Сначала я падал. Потом спорил с ветром. Потом ветер немного уступил. Потом земля ударила меня по боку и я обосрался.

Султан рассмеялся.

Смех был короткий, настоящий, и от этого в зале стало еще опаснее.

— Мне нравится этот человек, — сказал он.

Ахмет поклонился.

— Это хорошо?

— Иногда.

Султан велел принести кошель с золотом. Тяжелый. Та-

кой, от которого у бедного человека меняется походка.

— За зрелище, — сказал он.

Ахмет принял кошель.

— Благодарю, повелитель.

— А теперь уезжай из Галаты.

Ахмет поднял глаза.

— Куда?

— В Алжир. Там дерзость быстрее выветривается.

В зале стало тихо.

Даже Рашид-ага перестал изображать стену.

— Я только построил крылья.

— Нет, — сказал султан. — Ты показал, что они работают.

Мурад наклонился вперед.

— Есть люди, Ахмет Челеби, которые делают опасные вещи и гибнут. С ними просто. Есть люди, которые делают опасные вещи и выживают. С ними сложнее. Ты из вторых.

Ахмет почувствовал, как кошель с золотом тяжелеет в руке.

— Значит, награда — это цепь?

— Нет. Цепь была бы грубее. Это дорога.

— В ссылку.

— В Алжире можешь изучать ветер сколько угодно, — сказал султан. — Только без Галатской башни, без толпы под ногами и без мальчишек, которые завтра захотят повторить.

Вот тут Ахмет понял.

Не золото. Не Алжир. Не приказ.

У него забирали небо.

— Повелитель, — сказал он тихо, — если человек один раз поднялся, он уже не станет ниже.

Султан посмотрел на него почти с сожалением.

— Станет. Люди привыкают ко всему. Даже к земле.

Ахмет уже набрал воздуха для ответа. В груди даже поднялась нужная фраза — резкая, звонкая, такая, после которой в кофейнях одобрительно цокают языками и стучат ложечками по стаканам.

Но он увидел за плечом султана окно.

За окном не было Галаты.

Только дворцовый сад, кипарисы, кусок бледного неба и стражник у стены, которому было решительно все равно, летал сегодня человек или нет.

И фраза погасла.

Ахмет вдруг понял: голову ему оставили. Руки оставили. Даже золото дали. Просто взяли башню — ту самую каменную высоту, с которой невозможное начинало казаться делом рук, ремней и ветра, — и молча отодвинули ее за край его жизни.

Вот это и была казнь. Без топора. Без крови. Почти вежливо.

Исмаил ждал его у ворот.

— Ну? — спросил он.

Ахмет показал кошель.

— Значит, все хорошо?

— Я уезжаю в Алжир по воле султана.

Ученик побледнел.

— Это где?

— Далеко, мой мальчик. Достаточно далеко, чтобы Галатская башня стала слухом.

— Вы вернетесь?

Ахмет посмотрел на город.

На Пера, на Галатскую башню, на крыши, на воздух, который вчера держал его несколько невозможных минут.

— Не знаю.

Исмаил сжал губы.

— А крылья?

— Спрячь.

— Где?

— Там, где не найдут люди, которые хотят купить чудо за цену старой кожи.

— Я могу пойти с вами.

— Нет.

— Почему?

— Там ты будешь мальчиком при ссыльном. Здесь станешь мастером, будешь делать лучшие ремни в Стамбуле.

Исмаил отвернулся.

— Я не хочу становиться мастером так.

— Никто не становится мастером так, как хочет.

Ахмет положил правый ремень Исмаилу в ладонь.

...

Крылья лежали на полу. После полета они выглядели хуже: одно ребро треснуло, ткань порвалась у края, перья торчали в разные стороны.

После полета это уже были не кожа, тростник и перья.

Теперь это были не крылья, а доказательства, которые лучше не показывать людям с печатями.

Саадет пришла без стука. Принесла лаваш и сыр.

— Слышала про Алжир.

— В Стамбуле даже стены сплетничают быстрее гонцов.

— Стены умнее гонцов.

Она посмотрела на крылья.

— Заберут?

— Если найдут.

— Не найдут.

— Почему?

— Потому что я скажу всем, что вы унесли их с собой.

Люди верят глупостям охотнее, чем соседкам.

Ахмет посмотрел на нее.

— Я думал, вы хотели, чтобы я не летел.

— Хотела.

— А теперь помогаете прятать крылья.

— Раз уж вы полетели и не умерли, надо проследить, чтобы ваше безобразие не украли чиновники.

Исмаил вытер лицо рукавом.

— Куда спрячем?

Саадет подумала.

— Под полом у меня. Там мой покойный муж прятал деньги. Никто не нашел.

— А как вы знаете?

— Потому что он был слишком довольный, когда ходил по той доске.

Ахмет впервые за день засмеялся.

Они разобрали крылья ночью. Тростник отдельно. Ремни отдельно. Перья в мешок. Ткань свернули так, будто это был обычный товар, который надо спрятать от налогового сборщика.

Исмаил долго держал правый ремень.

— Его тоже спрячем?

— Его особенно.

— Почему?

— Потому что он выдержал.

Темное перо с полки Ахмет взял последним.

— А это? — спросил Исмаил.

Ахмет повертел перо в пальцах.

— Это не для крыла.

— А для чего?

— Для памяти. Но память тоже надо прятать от дураков.

Он сунул перо в мешок с ремнями.

Утром Ахмет уехал.

На пристани было сыро. Рашид-ага пришел проводить его, хотя никто не просил.

— Вы могли не приходить, — сказал Ахмет.

— Хотел посмотреть, как выглядит человек, которого не казнили, но все равно убрали.

— И как?

Рашид-ага посмотрел внимательно.

— В Алжире тоже есть ветер.

— Но нет Галатской башни.

Рашид-ага помолчал.

— Знаете, что странно? Если бы вы разбились, о вас говорили бы три дня. Если бы вас казнили — месяц. А теперь будут говорить дольше.

— Почему?

— Потому что никто не видел, как вас победили.

Ахмет посмотрел на него.

— Вы опасный человек, ага.

— Я чиновник. Это хуже.

Корабль отчалил.

Галата медленно уходила назад. Башня стояла над городом, темная, упрямая, как старик, который все видел и ничего не объясняет. Ахмет смотрел на нее, пока глаза не начали слезиться от ветра.

Он поднял руку.

Не для толпы. Не для султана. Не для легенды.

Для Исмаила, который наверняка стоял где-то у воды.

Для Саадет, которая наверняка ругалась, что взрослые мужчины хуже детей.

Для башни, с которой он не спустился так, как от него

ждали.

В Алжире он прожил недолго.

Еще говорили, он крыльев больше не строил.

Не из страха и не от бедности.

Просто без Галатской башни небо было низкое, чужое — пыльное небо ссылки, а не высота, ради которой человек однажды спорит с землей.

Исмаил остался в Галате. Со временем он стал мастером по ремням и парусине. Женился, потолстел, научился ругаться так убедительно, что даже Саадет однажды сказала: «Теперь человек».

Про крылья он молчал.

Но правый ремень перепрятал отдельно.

Через много лет, когда Исмаил уже сам стал стариком, в Галате поднялся сильный ветер. Такой, от которого хлопают ставни, лают собаки и люди без причины вспоминают долги.

Ночью под полом что-то заскрипело.

Исмаил встал, взял лампу, поднял доску.

Ремень лежал там, где и прежде. Темный, сухой, потрескавшийся.

А рядом с ним лежало длинное темное перо.

То самое.

Исмаил сел на пол и долго смотрел на него.

Потом засмеялся.

Тихо, чтобы не разбудить жену.

— Правый ремень выдержал, уста, — сказал он.

За окном ветер ударил в ставни.

А на Галатской башне, если верить тем, кто в ту ночь не спал, на мгновение что-то темное шевельнулось у самого края.

Может, тень.

Может, птица.

А может, это Галата почесала старый шрам и вспомнила упрямца, который однажды испортил ей прекрасное падение.

Новелла V. Камень девушки

Легенда о колонне, которая поклонилась девушке



Камень Эвтерпа не боялась.

Камень хотя бы молчал.

Люди вокруг него — вот где начинались неприятности.

В Фатихе Колонну Маркиана называли просто: Кызташы,

Камень девушки. Стояла она посреди небольшой площади — красноватая, старая, с мраморным основанием, на котором крылатые существа держали тяжелый венок. Днем вокруг нее торговали водой, кунжутом, тканями, дешевой медью, чужими новостями и чужим стыдом. Вечером у колонны задерживались те, кому домой идти было рано, а молчать — трудно.

Про Кызташы говорили, что она узнает женскую нечистоту.

Про мужские грехи у площади всегда находились объяснения: торговля, молодость, вино, дурная компания, тяжелый день. Про женские объяснений не держали. Женский стыд был удобнее: его можно было показать пальцем и передать дальше вместе с хлебом.

Когда Эвтерпе было двенадцать, у колонны уже однажды собиралась толпа.

Тогда молодую вдову из соседнего квартала обвинили в том, что к ней по ночам ходит торговец маслом. Колонна, разумеется, не шелохнулась. Стояла, как и положено камню, старая, красная, равнодушная к человеческому воображению. Но кто-то в толпе крикнул, что видел тень у основания. Другой поклялся, что венок на мраморе дрогнул. Третий ничего не видел, зато рассказывал громче всех.

Через неделю вдова исчезла.

На ее двери еще месяц болтался синий платок — забытый или нарочно оставленный. Никто его не трогал. Даже дети.

— Куда она ушла? — спросила тогда Эвтерпа у отца.

Никола долго мыл кисть, хотя краски на ней уже не осталось.

— Туда, где люди не знают ее имени.

— Она была виновата?

Отец посмотрел на нее так устало, что вопрос сразу стал детским.

— Дочь, когда площадь хочет виноватую, ей не нужна вина. Ей нужно лицо.

С тех пор Эвтерпа запомнила: колонна может и не двигаться, а жизнь все равно рушится.

Она жила неподалеку, в переулке с синей облупленной дверью, за которой пахло льняным маслом, деревом, клеем и кошачьей шерстью. Ее отец, грек по имени Никола, чинил рамы для икон, зеркала, ставни, ножки сундуков и всякие старые вещи, которые богатые люди сначала ломают, а потом требуют вернуть им прежнее достоинство.

Мать Эвтерпы умерла давно. В доме остались отец, дочь, старый кот с дурным глазом и молчание, которое по вечерам становилось третьим жильцом.

Красоту Эвтерпы в квартале обсуждали так, будто она сама вынесла ее на продажу. Стоило ей улыбнуться лавочнику, тот взвешивал финики вместе с гирей. Женщины у колодца поправляли платки, хотя ветра не было. А сама Эвтерпа просто жила: ходила прямо, смотрела прямо и этим почему-то всех оскорбляла.

— Тебе надо ходить тише, — говорил Никола.

— Я так и хожу.

— Нет. Тыходишь в лавку, как свеча в темную комнату.

Все сразу оборачиваются.

— Мне ползать?

— Не дерзи.

Никола вздыхал и тер виски пальцами, испачканными охрой.

У Николы не было лавки на большой улице, богатого брата и людей при суде. У него были кисти, клей, синяя дверь и заказчики, которые здоровались ровно до тех пор, пока это было удобно. Доброе имя он ценил выше дубовой рамы: раму можно было переклеить, имя — нет.

— Тебе надо выйти замуж, — сказал он однажды.

— За кого?

— За приличного человека.

Эвтерпа посмотрела на него.

— Приличный человек — это кто? Тот, кто сам себя так называет?

— Эвтерпа.

— Отец.

Они любили друг друга, поэтому спорили часто. Нелюбящие люди берегут силы для чужих.

Особенно внимательно за ними следила Айше-ханым, жена торговца тканями. Женщина круглая, громкая и набожная ровно до того места, где начинался чужой сундук. Она

жила напротив и видела все: кто вышел, кто вернулся, кто купил дорогую рыбу, кто слишком долго говорил у ворот, у кого новая лента, у кого старая беда.

— Девушка без матери — как лавка без замка, — говорила она у колодца.

— А с отцом?

— Отец? Мужчина в доме — это не замок. Это вывеска.

— У Николы дочь добрая.

— Добрая? Она на людей смотрит так, будто решает, нужны они ей или нет.

— А как надо смотреть?

Айше-ханым поджимала губы.

— Скромно.

— То есть в землю?

— Земля многих спасла.

Эвтерпа иногда слышала эти разговоры. Иногда делала вид, что не слышит. Иногда не получалось.

Беда вошла в мастерскую в мясницких сапогах.

Мустафа, сын мясника, явился ближе к вечеру. Широкоплечий, чисто выбритый, в новом жилете, с руками, которые привыкли не спрашивать, а отодвигать. За ним тянулся запах крови, свежей кожи и дешевого розового масла.

Он заказал раму для зеркала.

Зеркало было дешевое. Рама нужна была дорогая.

— Для дома? — спросил Никола.

— Для комнаты.

— У комнаты есть лицо?

Мустафа покосился на Эвтерпу.

— Скоро будет.

Эвтерпа резала тонкую деревянную планку и не подняла глаз.

— Осторожнее с зеркалом, ага, — сказала она.

— Почему?

— Оно иногда показывает больше, чем человек хотел показать.

Никола быстро кашлянул.

— Эвтерпа, принеси клей.

Мустафа не отвел взгляда.

— Острый язык портит девичье лицо.

Она подняла глаза.

— А грубая рука мужское не исправляет.

В мастерской стало тихо. Даже кот, лежавший на подоконнике, приоткрыл один желтый глаз.

Мустафа шагнул к ней.

Никола встал между ними.

— Рама будет готова через три дня.

— Не спеши, мастер, — сказал Мустафа. — Я еще зайду.

Он вышел, задев плечом косяк. С полки посыпалась пыль.

Эвтерпа вернулась к планке.

Отец долго смотрел на нее.

— Нельзя так.

— Как?

— Будить собак.

— Если собака кусается, виновата я?

— Виноват тот, кто потом будет перевязывать руку.

— Значит, надо держать собаку на цепи.

— Ты говоришь как человек, у которого еще не было настоящей беды.

Она положила нож.

— А вы говорите так, будто беду можно задобрить, если налить ей кофе.

Через три дня Мустафа вернулся не один.

С ним пришла его мать, две тетки, Айше-ханым и мулла. Муллу привели не потому, что он имел власть над домом Николы. Его привели для вида. Толпе всегда спокойнее, если рядом есть человек с бородой, который может сказать «нельзя» так, будто это уже почти закон.

Никола побледнел, едва увидел их из окна.

— Что случилось?

Эвтерпа вытерла руки о передник.

— Сейчас нам объяснят.

Мустафа вошел первым.

— Мир дому.

— И вам мир, — сказал Никола. — Рама готова.

— Я не за рамой.

— Жаль. Она вышла лучше разговора, который, чувствую, сейчас начнется.

Мустафа сделал вид, что не слышал.

Его мать, сухая женщина с губами, тонкими как нитка, посмотрела на Эвтерпу.

— Девушка, ты знаешь, зачем мы пришли?

— Если за зеркалом, оно на столе.

Айше-ханым охнула:

— Вот. Я говорила. Ни стыда, ни страха.

Мулла неловко кашлянул. Ему явно не нравилось стоять в мастерской с запахом клея и чужой семейной бедой.

Мустафа сказал:

— Я пришел сделать тебе предложение, от которого приличная девушка не отказывается при людях.

Эвтерпа не сразу ответила.

Она посмотрела на его мать, на теток, на Айше-ханым, на муллу, на дверь, за которой уже собирались соседи. Он пришел не просить. Он привел свидетелей, чтобы завтра никто не сказал: сын мясника получил отказ.

— Вы объявляете это мне или стене? — спросила она.

— Я говорю серьезно.

Эвтерпа молчала чуть дольше, чем обычно.

— Нет, Мустафа-ага.

Слово было короткое, но в мастерской стало тесно, будто кто-то внес туда лишнюю стену.

Лицо Мустафы потемнело.

— Повтори.

— Нет.

Его мать подняла руку.

— Она испорчена.

Никола дернулся.

— Следите за языком.

— А вы следите за дочерью.

Айше-ханым выступила вперед. Ее час настал, и она входила в него с достоинством женщины, которая давно репетировала.

— Я видела, как она позавчера вечером говорила у старого фонтана с мужчиной.

Эвтерпа нахмурилась.

— С каким мужчиной?

— В темном плаще. Лицо закрыто. Они говорили долго.

Эвтерпа поняла.

— Это был аптекарь Стефан. У него сломалась трость. Он просил отца починить ручку.

— Вечером? У фонтана?

— У него сломалась трость, — сказала Эвтерпа. — Он едва стоял.

Кто-то из теток фыркнул, но быстро спрятал лицо.

Мустафа шагнул ближе.

— Ты отказываешься при всех?

Эвтерпа почувствовала, как под передником холодеют ладони. Страх пришел тихо, без крика. Не за себя даже — за отца, за мастерскую, за синюю дверь, за все их маленькое имущество, которое держалось на заказах соседей.

Если слово «испорчена» прилипнет к ее имени, Никола

не продаст больше ни одной рамы. Ни один дом не пустит ее внутрь. Потом Мустафа придет снова — уже не женихом, а спасителем от позора, и квартал скажет: еще спасибо скажи.

Мустафа не мог уйти просто отвергнутым. Мужчина при свидетелях редко прощает женщине слово «нет». Значит, надо было сделать так, будто отказала не она, а ее позор.

— При всех, — сказала она.

Мустафа улыбнулся уже иначе.

Без спешки.

— Тогда пусть Камень девушки решит.

В мастерской стало тихо.

Никола выдохнул:

— Нет.

Айше-ханым засияла.

— Правильно. Пусть колонна покажет.

Мулла нахмурился.

— Это не суд.

— Народ знает, — сказала мать Мустафы.

— Народ много чего знает, — буркнул Никола. — Особенно то, чего не было.

Но слово уже вылетело.

Кызташы.

Камень девушки.

Эвтерпа хотела сказать: «Нет». И почти сказала.

Но за дверью уже слышались голоса. Никола услышал имя дочери, произнесенное чужим ртом, и понял: дверь больше

не защищает дом. Она только отделяет комнату от площади.

Айше-ханым не побежала. Бегают дети и воры. Она вышла к соседкам медленно, с лицом женщины, которая несет не сплетню, а общественную службу.

Эвтерпа сняла передник, но руки не сразу развязали узел. Пальцы вдруг стали чужими.

Если она останется дома, завтра скажут, что камень даже не понадобился.

— Я пойду, — сказала она.

— Нет, — сказал отец.

— Пойду.

— Тебе нечего доказывать.

— Себе — нет.

— Тогда зачем?

Она посмотрела на Мустафу, потом на Айше-ханым, потом на женщин у двери.

— Потому что они уже начали.

Площадь собралась быстро.

В Стамбуле хлеб мог не успеть к обеду, вода могла опоздать, чиновник мог потеряться, но слух приходил всегда вовремя.

К полудню у Кызташы стояли лавочники, мальчишки, старухи, два носильщика, продавец жареных каштанов, бездельники, которые в любой драке первыми знают, куда встать, и мужчины, у которых мнение появлялось раньше, чем повод.

Колонна возвышалась над ними красноватая, спокойная, с венком на мраморном основании. В жарком воздухе над площадью дрожала пыль. От лавок тянуло кунжутом, рыбой, потом, горячей кожей и сладким виноградом. Где-то орал осел. Кто-то продавал воду. Кто-то уже спорил, наклонена колонна или нет.

— Она всегда такая, — сказал один.

— Нет, вчера прямее была.

— Ты вчера был пьян.

— Зато видел ровно.

Мулла шел сбоку и злился все сильнее. Он пришел не ради камня. Он пришел потому, что знал: без него эта глупость быстрее возьмет палку.

Мулла мог уйти. Но если бы он ушел, завтра сказали бы, что он испугался правды. А без него Мустафа получил бы не камень, а палки.

— Последний раз говорю, — сказал он Мустафе. — Камень не свидетель.

— Тогда пусть молчит.

— Камни обычно так и делают.

— Посмотрим.

Эвтерпа услышала и почти улыбнулась, но улыбка не вышла.

Мустафа заметил.

— Весело?

— Нет.

Она сказала это тихо. И впервые за день ему не ответила колкостью.

Отец сжал ее руку.

— Не смотри на них.

— На кого смотреть?

— На меня.

— Вы бледнее извести.

— Я отец. Мне положено.

Мустафа шел впереди, как человек, который уже выиграл. Его мать несла четки. Айше-ханым шепталась с соседками и время от времени бросала на Эвтерпу взгляд, полный святой сытости.

Толпа зашумела.

— Идет!

— Смотрите!

— Красивая.

— Красивая — это еще не честная.

— А некрасивая сразу честная?

— Тише, дура.

Эвтерпа остановилась перед колонной.

Солнце било в глаза. Камень казался теплым, почти живым. На основании крылатые существа держали венок с таким усталым видом, будто им надоело веками участвовать в чужих семейных скандалах.

Мустафа сказал громко:

— Пройди вокруг.

Никола шагнул к нему.

— Ты не имеешь права командовать моей дочерью.

— Тогда пусть стоит.

Эвтерпа отпустила руку отца.

— Я пройду.

Мулла тихо сказал:

— Девушка, не надо.

Она посмотрела на него.

— Почему?

— Потому что если камень не двинется, они скажут, что плохо смотрели. Если двинется, скажут, что были правы. В этой игре камень честнее людей, но играет не он.

Эвтерпа кивнула.

— Спасибо.

— За что?

— За правду.

Она пошла.

Первый круг прошел тихо.

Только сандалии шуршали по пыли. Где-то шелкали четки. У Николы дрожала нижняя губа, и он сердился на нее за это больше, чем на весь квартал.

Колонна стояла.

— Еще, — сказал Мустафа.

Мулла резко повернулся к нему.

— Достаточно.

— Я сказал — еще.

— Вы не судья.

— А вы не ее защитник.

Эвтерпа пошла второй круг.

На середине ей показалось, что под ногами дрогнула земля.

Не сильно. Так дрожит деревянный пол, когда внизу кто-то закрывает тяжелую дверь.

Она остановилась.

Толпа ахнула.

— Видели?

— Дрогнуло!

— Камень знает!

Никола бросился к ней.

— Эвтерпа!

— Стойте, — сказала она.

Сама не знала почему.

Колонна молчала.

Но в этом молчании что-то изменилось.

Эвтерпа подняла голову.

Солнце ослепляло. Красный камень уходил вверх, к синему небу. Внизу стояла площадь — с открытыми ртами, узкими глазами и терпением мясной лавки перед забоем.

И вдруг Эвтерпа засмеялась.

Тихо.

Не весело.

Смех вышел сам, нервный, сухой, как щепка под ножом.

— Что смешного? — прошипел Мустафа.

— Вы.

— Что?

Она повернулась к нему.

— Вы привели меня к старому камню, чтобы он объяснил вам, что делать с живой женщиной.

В толпе кто-то ахнул.

Айше-ханым схватилась за грудь.

— Бесстыдница!

— Вот видите, — сказала Эвтерпа. — Колонна еще молчит, а вы уже справились без нее.

Мустафа шагнул к ней.

— Замолчи.

— Нет, — сказала Эвтерпа.

И это «нет» оказалось тяжелее всех их обвинений.

Тогда колонна наклонилась.

Не рухнула. Не треснула. Не ударила молнией, как потом будут рассказывать люди, которым для памяти всегда мало правды.

Она просто едва заметно подалась вперед.

Но этого хватило.

По толпе прошел звук, похожий на вдох большой печи.

Никола побелел.

Мустафа улыбнулся.

— Видите?

Айше-ханым завизжала:

— Камень показал!

— Показал, — сказал кто-то.

— Грех!

— Позор!

Эвтерпа смотрела не на людей.

Она смотрела на колонну.

И вдруг поняла странное: камень не падал на нее.

Мулла первым понял это вслух.

— Она не падает, — сказал он.

Мустафа резко обернулся.

— Что?

— Колонна, — сказал мулла. Он смотрел на камень и, кажется, сам не верил своим словам. — Она не падает на девушку.

Он помолчал.

— Она кланяется.

Толпа зашумела еще громче.

Мустафа схватил Эвтерпу за руку.

— Теперь ты пойдешь со мной.

Она дернулась.

— Отпусти.

— Камень сказал.

— Он не тебе сказал.

— Отпусти ее, — сказал Никола.

Мустафа оттолкнул старика. Тот упал на колени.

Вот тогда Эвтерпа ударила.

Не красиво. Не по-женски, как потом возмущалась Айше-ханым. Она просто врезала Мустафе кулаком в нос.

Хруст был маленький, но очень убедительный.

Мустафа отпустил ее и взвыл.

Толпа замерла.

Мулла закрыл глаза.

— Ну вот, — пробормотал он. — Теперь хоть что-то честное.

Эвтерпа помогла отцу подняться.

— Пойдем.

— Куда? — прошептал Никола.

— Домой.

— Они не дадут.

Она посмотрела на толпу.

— Пусть спросят камень.

И тут колонна наклонилась еще.

На этот раз все увидели.

Не к земле. Не на Эвтерпу сверху.

К ней.

Камень подался к ней не сверху вниз, а навстречу. Медленно, старчески, будто узнавал не вину, а достоинство.

Тишина стала такой плотной, что было слышно, как за лавками кашляет осел.

Мустафа молчал. Из носа текла кровь. Он смотрел на Эвтерпу из-под ладони, и этот взгляд был хуже крика. В нем уже не было желания жениться. В нем было желание одна-

жды встретить ее в пустом переулке.

Эвтерпа поняла это. Никола тоже.

И все равно она спросила:

— Ну? Берете меня в жены или сначала у колонны разрешения спросите?

Кто-то в толпе прыснул.

Потом еще кто-то.

Смех пошел неровно, опасно, как трещина по льду.

Айше-ханым закричала:

— Не смейте смеяться!

Но поздно.

Люди любят судить. Но еще больше любят, когда судья оказывается дураком.

Мустафа ушел первым.

Его мать за ним. Тетки тоже. Айше-ханым осталась на месте, потому что гнев удерживал ее лучше, чем ноги.

Мулла подошел к Эвтерпе.

— Уходи сейчас.

— А вы?

— Я скажу, что ничего не видел.

— Вы же видели.

— Поэтому и скажу.

Никола, хромая, повел дочь домой.

Следующие дни оказались хуже самой площади.

На площади хотя бы все смотрели в лицо. Дома началась мелкая, липкая работа квартала.

В первый день к Николе не пришел заказчик, который двадцать лет носил ему рамы после каждого пожара и каждой семейной ссоры. Во второй день кто-то плюнул на синюю дверь. В третий утром Эвтерпа нашла у порога рыбью голову, завернутую в кусок старой ткани. Никола выбросил ее молча, но потом долго мыл руки, будто рыба слизь была не на пальцах, а под кожей.

На четвертый день Мустафа весь вечер стоял у фонтана и точил нож о камень.

Не угрожал. Не кричал. Просто точил.

Этого было достаточно.

В ту ночь Эвтерпа впервые заплакала.

Не громко и не красиво. Села на пол у сундука, закрыла лицо руками и дрожала так, будто вся ее смелость осталась там, на площади, под красной колонной.

Никола стоял рядом и не знал, можно ли трогать дочь, которая не дрогнула перед кварталом, а теперь ломалась от тишины за окном.

На пятый день он закрыл мастерскую.

— Мы уезжаем, — сказал он.

Эвтерпа сидела у окна. Лицо у нее было бледное, но сухое.

— Из-за них?

— Из-за нас.

— Я ничего не сделала.

— Ты ударила сына мясника, посрамила его мать, заставила площадь смеяться и каким-то образом уговорила древ-

нюю колонну поклониться. Дочь моя, для одного человека это слишком много на неделю.

— Я не уговаривала.

— Тем хуже. Если бы уговаривала, я хотя бы понял бы, как это остановить.

Она молчала.

— Куда?

— В Пера. У меня там двоюродный брат. Возьмет нас в мастерскую.

— А дом?

— Дом подождет.

— А если нет?

Никола улыбнулся устало.

— Тогда это будет первый дом в Стамбуле, который научился нетерпению.

Они ушли ночью.

Не из страха, как потом говорили. Из усталости. Это разные вещи, хотя со стороны похожи.

Эвтерпа несла небольшой узел с платьем, нож для дерева и маленькое зеркало в раме, которую отец так и не отдал Мустафе. На углу она обернулась.

Кызташы стояла в лунном свете.

Колонна была чуть наклонена.

Совсем немного.

Но теперь это видели все.

— Отец, — сказала Эвтерпа.

— Не смотри.

— Она ведь не выпрямится?

Никола посмотрел на камень.

— После некоторых поклонов спина уже не та.

Они ушли.

Про Эвтерпу потом говорили многое.

Говорили, она уехала в Смирну. Говорили, стала богатой вдовой в Пере. Говорили, сама открыла мастерскую, где зеркала никогда не ввали женщинам.

Ни одна версия не была доказана.

Зато колонна осталась.

Красноватая, старая, с крылатыми существами у основания. Чуть наклоненная.

Утром площадь снова открыла лавки.

Продавец воды первым поставил кувшины у стены. Мальчишки гоняли косточку между камнями. Айше-ханым прошла мимо Кызташы с таким лицом, будто колонна лично испортила ей репутацию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.